



Наоми Френкель

**«...Ваш дядя
и друг Соломон»**

Элимелех и Соломон

Наоми Френкель

«...Ваш дядя и друг Соломон»

«Книга-Сэфер»

2006

Френкель Н.

«...Ваш дядя и друг Соломон» / Н. Френкель — «Книга-Сэфер», 2006 — (Элимелех и Соломон)

Роман израильской писательницы Наоми Френкель, впервые переведенный на русский язык, открывает читателю поистине «terra incognita» – жизнь затерянного в горах кибуца с 20-х до конца 60-х годов XX века. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет...» – эти пушкинские слова невольно вспоминаешь, читая роман, чьи герои превращают бесплодные горы в цветущие поля, воют, спорят. Но, и это главное для них самих и интересно для читателя, – любят. И нет ничего для них слаще и горше переплетений чувственных лабиринтов, из которых они ищут выход. Найдут ли? – «Не дано предугадать...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Наоми Френкель и ее творчество | 5 |
| Глава первая | 8 |
| Глава вторая | 10 |
| Глава третья | 18 |
| Глава четвертая | 27 |
| Глава пятая | 36 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 45 |

Наоми Френкель

Ваш дядя и друг Соломон

Наоми Френкель и ее творчество

Наоми Френкель родилась в Берлине, в ассимилированной еврейской семье. Ее предки были некогда изгнаны из Испании. С приходом нацистов к власти, в 1934 году, семья уехала в Эрец Исраэль.

Наоми воспитывалась в иерусалимской сельскохозяйственной школе, основанной в Талпиот Рахелью Янаит Бен-Цви, женой второго президента Израиля. Интересно, что там же проживал Шмуэль Иосеф Агнон, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе.

Оттуда, вместе с группой молодежи, влилась в кибуц Бейт-Альфа в Изреельской долине.

В 1948 году окончила Еврейский университет в Иерусалиме, где главными предметами ее изучения были история народа Израиля и Каббала.

В 1982 году переехала в поселение Кириат-Арба, рядом с Хевроном.

Внешне жизнь Наоми Френкель не изобилует событиями.

Однако творчество ее, питаемое собственной непростой судьбой, связанной с немецким еврейством в момент его разлома и, по сути, гибелью в бездне Второй мировой войны, с той частью этого еврейства, которому удалось спастись бегством в землю Израиля и оказаться здесь в круговороте судьбоносных событий – создания государства Израиль, войны за Независимость, Шестидневной войны и войны на истощение – оказалось близким читателям, чувствующим себя героями ее книг, и сделало ее одной из популярнейших писательниц в стране.

В ее книгах особенно ощутима атмосфера кибуца Бейт-Альфа, расположенного в восточной части Изреельской долины, у подножья горы Гиль-боа (они выступают в ее книгах как «долина» и «гора»), где писательница трудилась на земле и в то же время начала писать свой первый цикл романов.

Над кибуцем Бейт-Альфа, основанным в 1922 году евреями – выходцами из Польши, веют глубинные ветры еврейской истории эпохи Судей, царя Саула, погибшего на горе Гиль-боа, еврейских мудрецов, живших в эру Византии, ставших впоследствии героями каббалистической книги «Зоар». Остатки синагог тех лет разбросаны по всей Галилее.

Именно в Бейт-Альфа знаменитый израильский археолог, профессор Сукеник, обнаруживший рукописи Мертвого моря в Кумранской долине, вместе с археологом Авигадом раскопал мозаичный пол синагоги, являющийся удивительным образцом еврейского искусства византийского периода.

Известность к писательнице пришла сразу, с публикацией фрагментов романа «Дома престарелых» – первой части трилогии «Шауль и Иоанна». Роман выходит в свет в 1956 году и удостоивается премии Рупина. Второй части трилогии – роману «Смерть отца», вышедшему в 1962 году, – присуждается премия Усышкина, а третьей части – роману «Сыновья», опубликованному в 1967 году, – премия главы правительства.

Осью трилогии является любовь главной героини Иоанны к бывшему нацисту, любовь трагическая, со всеми болезненными проявлениями, присущими немецкому еврейству. Эти евреи жаждали быть большими немцами, чем сами немцы, были уверены, что именно они – соль земли германской, и получили страшный и далеко не первый в истории рассеяния урок изгойства.

Наоми Френкель с удивительной тонкостью проникновения редактирует и дополняет своими главами «Страницы дневника» десантника, героя войны за Независимость Меира Хар-

Циона, названного Моше Даяном самым великим и прославленным воином с древних времен. Меир Хар-Цион был тяжело ранен в одной из операций, но выжил и жив по сей день.

Особый интерес вызвало глубокое нестандартное понимание Наоми Френкель военных вопросов. Генеральный штаб Армии обороны Израиля пригласил ее в 1969 году на службу в подразделение командос военно-морских сил Израиля, в котором она прослужила восемь лет и демобилизовалась в чине майора. В эти же годы вышли в свет ее книги «Ваш дядя и друг Соломон...» (1972), «Юноша вырос на берегах Аси» (1976), посвященная памяти юноши Ашкенази, павшего в бою за освобождение Иерусалима в Шестидневной войне, «Рахель и зрачок» (для детей, 1975). Слово «зрачок» на иврите – «ишон». Но это может означать и «маленький человечек» («иш» – человек), и – «темень» («эшон»). Эта книжечка пользовалась неизменной любовью детей и выдержала целый ряд изданий.

После окончания войны Судного дня Наоми Френкель составляет и редактирует краткий отчет обсуждения итогов войны в Генеральном штабе Военно-морских сил Израиля (800 страниц), который по сегодняшний день не разрешен к публикации.

Название романа «Ваш дядя и друг Соломон...» в оригинале – «Доди вэ реи», по сути, парафраз фрагмента шестнадцатого стиха пятой главы библейской книги «Песнь Песней»: «...зэ доди вэ зэ реи, бнот ирушалаим», «...вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дочери Иерусалима». Образ царя Соломона пронизывает своим дыханием всю эту гениальную книгу, и потому это имя – «Соломон» – несет в романе особенную нагрузку.

Любовный треугольник между красавицей Адас, ее мужем Мойшеле и любовником Рани, к которому она испытывает столь же безумное по силе и остроте чувство, как и Суламифь в «Песни Песней», разворачивается на фоне Шестидневной войны и последовавшей за ней войны на истощение. И все это «варится» в своеобразной среде кибуца с его понятиями о коллективной жизни, которая чаще всего бесцеремонно вторгается в личную жизнь индивида, пользуясь знакомыми нам по советскому существованию манипуляциями марксизма-ленинизма, нередко неся этому индивиду трагедию и гибель.

Внутреннее напряжение романа, касающееся большого нерва любого израильтянина, сделало этот роман бестселлером, которым зачитывалась израильская молодежь.

В 1982 году выходит продолжение этого романа – «Дикий цветок», в котором два главных героя дилогии продолжают свое странствие – реальное и виртуальное – по дорогам войны на истощение.

В этой дилогии Наоми Френкель пытается задать себе вопрос: не является ли война в настоящей истории народа Израиля некой постоянной экзистенциальной константой, несущей, быть может, не только великую закалку, но и столь же постоянное душевное и духовное напряжение? Может быть, это и есть цена тех бессмертных духовных достижений народа Израиля в мировой цивилизации в течение более 3000 лет?! С точки зрения индивида, это – весьма дорогая цена.

После переезда в Кириат-Арбу, писательница работает над романом «Баркаи», в котором рисует широкое полотно жизни евреев в Хевроне начиная с 1517 года, когда турки устроили резню евреев в Палестине, затем описывает еврейский погром в Хевроне в 1929 году, и доводит свое повествование до сегодняшних дней. Роман вышел в свет в 1999 году.

Новый роман писательницы «Мул» опубликован в 2003 году.

За большой вклад в ивритскую литературу Наоми Френкель удостоена престижной премии Ньюмена (2005 год).

Эфраим Баух



Глава первая Соломон

Мэиру

Господи, солнце уже взошло над вершиной горы. Проспал. А ведь я решил, что сегодня у меня не обычный будний день, а рабочий. И вот надо же, потерял несколько драгоценных часов.

Надо торопиться. И так, эти долгие дни скорби обозначились для меня печальной праздностью.

Вот уже шесть недель, как я исключил себя из жизни, уединился с самим собой и своим горем: Амалия моя ушла в мир иной.

Письменный стол я придвинул к окну. Кипы бумаги громоздятся на нем.

Молодые откликнулись на мое предложение начать разговор между нами и откровенно, не оставляя ничего на сердце, доверить бумаге все еще отзывающуюся в нас болью историю. Быть может, тогда нам удастся поставить в ней точку.

Две недели прошло с тех пор, как я послал им письма с просьбой описать события, произошедшие с нами всеми. Каждый так – как он их видит, переживает и оценивает.

Я, со своей стороны, занялся именно этим, написал целый свиток. Эти исписанные листы на письменном столе – тому свидетельство. По сути, целая книга.

Я еще не читал записей молодых. Я терпеливо ждал, пока завершится наш диалог. Я хотел прочесть все за один присест. Одним ударом. Именно такой сильный удар может помочь найти выход.

Именно этого я добиваюсь: помочь им и себе выбраться из лабиринта, в который мы попали.

Омылись ли мы правдой в просветляющей реке исповеди? Очистились ли? Была ли необходимость вызывать тени прошлого, будить воспоминания о столь болезненных событиях? Прочту и увижу.

Но час уже не ранний, и я боюсь начать чтение. Глаза мои устремляются к рыбным прудам в долине. Воздух уже прогрелся, и над прудами курятся туманные дымки, маревом подрагивая в пространстве. Множество тонких столбиков пара пляшет над поверхностью вод. На горизонте, над прудом, вздымается в небо одинокая дум-пальма. И чудится, сквозь эти дымки, дерево приближается ко мне. Одинокое, оставшееся от множества своих сестер, которые были выкорчеваны плугами и тракторами.

Сорок лет минуло. Не было этой цветущей зеленой долины, а лишь высохшая серая степь. Пришли к нам степные жители, сельчане и бедуины с жестким предупреждением: «Не трогайте дум-пальмы!» По всей степи и в горных ущельях кругами росли кусты дум-пальм, протягивая испепеляющему солнцу свои колючие жесткие листья. С первым зимним дождем дум-пальмы приносили плоды, желтоватые, твердые, кисловатые на вкус. Оскомина заставляла содрогаться все тело, словно это были плоды мандрагоры. Дум-пальмы вообще расположены к росту, чтобы стать деревьями между деревьями. Но стада коз обгрызали молодые ростки, и их острые зубы обрекали эти ростки участи кустов. Сотни лет шла война на истощение между дум-пальмами и козами. Победили в этой войне сабельно острые зубы, пальмы проиграли, превратившись в низкорослые кусты. Сельчане и бедуины добавляли к своему предупреждению: «Под каждой дум-пальмой погребен герой».

Рыхлят степняки сухую скудную землю, сеют то, что должно дать пищу человеку и животному. Верблюд и осел, бык и женщина – сгодятся тянуть деревянный плуг. Богатые пахут на верблюдах и ослах, бедные – на женщинах.

Каждый куст дум-пальмы осторожно огибали зубьями плуга, чтобы не потревожить кости героев, покоящихся вечным сном под корнями. Вокруг каждого куста образовались девственные пяди земли. Испепеляющее солнце, жаркий ветер, острые зубы коз и жесткая земля – все ожесточились на эти кусты дум-пальм.

А годы шли, годы благословенных дождей и годы засухи, и последние явно одолевали первые. Кусты дум-пальм дают плоды и в засушливое время. Зимний ветер разносил их семена по всей степи. Из века в век множились дум-пальмы, из века в век плодились герои. В мазанках, хижинах, в шатрах Кидара росли и множились легенды о бесстрашных делах мертвых храбрецов. В степи уже нет куста дум-пальм без героя и героя без куста дум-пальм. Каждый куст, обгрызенный козами, был как живой памятник.

И тут пришли мы. Тракторами и железными плугами прошлись по следам верблюдов и ослов. Нам не преграда – ни кусты, ни герои, ни легенды. Дум-пальмы были с корнем выкорчеваны, и земля на их месте превратилась в тончайшую пыль. Клубами этой пыли возносились ввысь земля, словно мертвые души исходили духом из-под корней. Ветер подхватывал эту пыль. На крыльях ветра оставили дум-пальмы эту степь навсегда. Но некоторые из них, обойденные плугом, освободились от козьих зубов, тяжести земли, засухи, и начали расти. Вознесли стволы, развернули кроны, как вот эта, над прудом. Новые легенды стали ткать эти дум-пальмы в долине. Легенды? Нет, жизненные истории.

Я добавил свою исповедь к исповедям молодых. Придет день, и мы обменяемся ими. И тогда все будет раскрыто. Быть может, откровение сердца решит все проблемы. Еще настанет день, когда Адам и Мойшеле пройдут по тропинкам, пересекающим долину, между прудами, и присядут под ветвями дум-пальмы, как все влюбленные наши в жаркие летние ночи.

Я должен, в конце концов, приступить к чтению. Да простят меня дорогие мои, но начну с собственных записей.

Глава вторая

Соломон

Рассказ мой начинается в полдень. Ровно в двенадцать, как обычно, я вышел из дому в сторону столовой – пообедать, взять газету и письма, которые, быть может, присланы мне. Весна пришла в засушливую нашу долину жаркими днями. Я шел, погруженный в думы, сняв шляпу. Лысина моя сверкала на солнце. Капельки пота выступили на ней, и я с большим трудом взобрался вверх по тропинке в столовую. Добрался до дома культуры. На ступеньках веранды сидели мальчики и девочки. Сверху я казался им ужасно смешным со своей сверкающей лунообразной лысиной, петляющей по тропинке. Они смеялись. Донесся голос мальчика:

«Это луна движется под солнцем!»

Я был уязвлен до глубины души. А на душе у меня и так было тяжело. Добрался до столовой, открыл газету и увидел дату: «Первое апреля».

Это меня еще больше уязвило. Газета дрожала в моих пальцах. Словно бы все, что случилось со мной в последний месяц было не более чем первоапрельская шутка. Тридцать дней прошло со дня, как умерла моя жена Амалия.

Целый месяц меня не интересовали даты. Я молчал. Точнее, не совсем молчал. В общем-то, я молчун по природе, но в этот месяц слишком разговорился. Не было у меня выхода. Тридцать дней мой дом напоминал улей. С дальних и ближних мест приходили выразить соболезнование. Люди сидели у меня с утра до вечера и с вечера до утра. И о чем они собирались говорить со мной? Старались отвлечь меня от моей Амалии. Даже о патефонах говорили, о певцах, о популярных песнях. Как будто можно выразить уважение памяти моей Амалии какими-то куплетами. Это ее никогда не интересовало. Всего в двух гимнах она подпевала: в «Атикве» и в «Интернационале». И то лишь два раза в год. На первое мая и в праздник, отмечающий дату рождения кибуца. В этих двух случаях весь кибуц ставят по стойке смирно. Амалия почти сорок лет выдерживала эту стойку, с избыточной серьезностью относясь к приказам и праздничным датам. Она замирала, прямая, как линейка, вытягиваясь по весь рост, с руками вдоль тела, и ужасно фальшивила. Ни одного верного звука не могла извлечь из горла.

Хотя первое апреля вовсе не праздник, но о нем все говорят.

Целый месяц после смерти Амалии сердце мое молчало. Считалось, что я всегда должен открывать рот и, естественно, сердце. Но я онемел, а сердце нашептывало в память. Осознавало жизнь моей Амалии. Сердце онемело, и раскрылись уста.

Я вглядываюсь в газету, и дата колет мне глаза, колет в сердце, пробуждая его от онемения. Великая тревога охватывает меня и целый день не отпускает.

Наступил вечер. В эти часы сильный ветер несется с горы. Ветреная ночь. За окном весенняя буря, после тяжелого хамсина, царившего весь день. Ветер напитан пылью, накапливает облака в небе, покрывает око луны, бьет по деревьям, и пространство подобно бушующему морю. Я задыхаюсь, и облегчение не приходит. И никакого выхода, никакой цели нет передо мной.

Что делать в такой вечер, когда сердце не дает покоя, и сквозь это сиротство возникает неотступное желание – читать, действовать, шутить, наконец; пойти к соседу, излить свою душу, как я это делал с моим другом Элимелехом. Давно ушел он из жизни. К кому я пойду со своими бедами? Все друзья мои на том свете. Уходят год за годом. Вот и Амалия, добрая жена моя, оставила меня. Много одиночества в мире. На самое тяжелое – одиночество человека, скорбящего по близкой ему душе.

Сидел я один в пустой своей, полной лишь скорби комнате. Темнело. Электричества не было. Быть может, и это первоапрельская шутка? Решили электрики пошутить и оставили

кибуц без света. Все шутят, а я сижу во мраке. Много голосов за окнами. Слышны из транзистора звуки «Праздничной увертюры» Чайковского. Слышны шаги за дверью. Но открывается, скрипя, не моя дверь. Все решили, что дни скорби по Амалии кончились. Шумят на ветру деревья, и где-то пес облаивает встревоженное ветром пространство. Изнывающий любовью кот пронизывает ночь стенаниями. Обрывки разговоров доносятся ко мне сквозь шум деревьев. Голос ветра – словно голос поверх времени. Нет у меня сил выслушивать эти голоса и нет сил погружаться в воспоминания о самом себе. Лучше выйду из дома. Быть может, зайду в дом культуры. Не посещал его со дня смерти Амалии. Нет, еще не пришло время вернуться к старым привычкам.

Погулял вдоль двора, вдоль домов. Во всех окнах мерцают слабые язычки пылающих свечек и керосиновых ламп, делая эту ночь первого апреля необычной. Я ускоряю шаг. Почти бегу в сторону горы. Во тьме ночи, кажется, это не гора, а земля раскрыла свою пасть, чтобы изрыгнуть из нутра своего эту тьму. Луна плывет между облаками, ныряя в них бледной охлаждающей лодкой. Глаза мои следят за этой холодной посудинкой, карабкаются на вершину горы. И словно бы мертвые мои влекут меня с собой – собирать в скальных расщелинах фиалки. Никого вокруг. Лишь я иду по следам моих умерших друзей. Я видел, как фиалки растворяются между их пальцев и возвращаются с ними на их могилы, как и мои воспоминания. Сбежал я от горы и тьмы ее, от любимых моих умерших.

Любимые мои? Что я шепчу самому себе. Были ли любимые, возлюбленные в моей жизни? Более сорока лет назад, еще до того, как женился на Амалии, нашел я в своем почтовом ящике анонимное любовное письмо. По сей день перед моими глазами пляшут его строчки:

«Соломон, любимый мой...»

Письмо я уничтожил. И всю жизнь меня мучает мысль, что единственное любовное письмо, полученное мной, было попросту насмешкой, чьей-то шуткой. А может быть, и нет? Незнакомка любила меня, а я даже не попытался ее отыскать. Ветер трясет меня, как будто весь мир вместе со мной смеется – надо мной.

Выхода нет. Нужно вернуться в пустой свой дом. Живу я в симпатичном квартале старожилков уже более двадцати лет. Все еще нет электричества, и свечи продолжают мерцать в окнах. Только мое окно чернеет. Единственное окно в кибуце, в котором не подрагивает живое пламя. Сердце, которое не давало мне покоя, опять онемело. Прилег на постель и принял снотворное. Хотелось разморозить сердце глубоким сном. Проспал несколько часов, явно облегчивших мое состояние. Проснулся вдруг и не мог вспомнить ускользнувший от меня сон. Началась бессонница. Ветер дул сквозь форточку над моей постелью. Будильник Амалии громко, как всегда, подобно трактору, трещал в комнате явно в неурочное время. Полночь еще не пришла, и я подумал про себя: первоапрельская шутка все еще продолжается, но человек сам себя не может развлечь. А может, да?

И тут я заметил, что вернулся свет. Фонарь на столбе, напротив нашего дома, посылал в мое окно яркие лучи. Большие и темные ночные бабочки роились в этих лучах. У окна, купаясь в лучах фонаря, растет, широко распуская ветви, дерево мелия. Ветер треплет фонарь, ветви, и в комнату врываются рваные полосы света вместе с длинными тенями колышущихся ветвей, и тени перистых листьев дерева ложатся на стены странными пятнами, словно бы руки теней обнимают полосы света объятиями привидений.

Я привстал в постели, стараясь прислушаться к тому, что происходит за окном. Во всех домах огни погасли, но ветер продолжал шуметь. Чьи-то одинокие шаги слышались во дворе. Быть может, это ночной сторож? Но сердце все еще колотится от треска будильника. Сколько раз я говорил Амалии: давай сменим это огромное трескучее чудовище на небольшой, симпатичный, издающий мягкие звуки будильник. Такие будильники выдавали в кибуце всем, кто должен был рано вставать на работу. Но Амалия даже слышать не хотела о том, что следует заменить ее уродливого великана. Но почему? Потому что, во-первых, боялась, что слабый и

мягкий звук не в силах будет ее разбудить. Сон у моей Амалии был здоровым и глубоким. Во-вторых, у нее было особое отношение к старым вещам. Стаж и элитарность для нее были одно и то же. А трескучий великан принадлежал к поколению первых в кибуце будильников, которые распределяли отцы-основатели. Хорошая моя Амалия была всю свою жизнь среди рано встающих на работу. И она была верна будильнику, как и ужасной своей шубе из овечьей шкуры. Сколько раз я пытался убедить ее избавиться себя и меня от этой старой шубы с ее противным запахом. И все зря. Успокаивала меня тем, что в следующую зиму ее не наденет.

Приходила зима, и шуба снова извлекалась. Эту шубу она привезла с собой из Польши более сорока лет назад. Такие шубы польские крестьянки считали роскошью. Амалию же никогда эта шуба не украшала. В те дни она была хотя бы новой. Светло-серого цвета с цветной подкладкой. Но этот овечий запах шел от нее всегда. Запах, который я просто не выдерживал. Когда она в своей шубе усаживалась в читальном зале играть со мной в шахматы, этот запах входил мне в ноздри, сбивал мою мысль, и явно возникала опасность проигрыша. Это меня, естественно, сердило. Только меня? Всех товарок Амалии по кибуцу сердила эта шуба. Они завидовали ей с ее симпатичной шубой, всю обсуждали и осуждали ее. Не было в кибуце девушки, которая, собираясь в город, не одалживала бы у Амалии шубу. И всех она украшала, кроме Амалии. Внешним видом хорошая моя Амалия не очень изменилась со времен своей молодости, а подруги ее покрылись морщинами, как и шуба начала расползаться по швам и подкладка стала отслаиваться. Лишь ужасный запах не выветривался из нее. Как только я начал свои иронические выпады по поводу шубы и ее запаха, ответ Амалии не заставлял себя ждать: «Соломон, ну, пахнет шкура, ну и ладно, а как быть с твоим истрепанным портфелем? Что ты можешь сказать по поводу запаха твоего портфеля, брат и товарищ Соломон?»

«Брат и товарищ Соломон» – как один из бесчисленных вздохов Амалии – все еще виснет в воздухе комнаты. Вздохов в течение всех лет. И будильник сопровождал тарыхтением эти вздохи, звонил нам каждое утро более тридцати лет, подчеркиваю – звонил нам. Все годы я был общественным деятелем, и не было у меня необходимости вставать спозаранку, как бедной моей Амалии, которая всегда была усталой. Я усталым не был, но будильник заставлял и меня просыпаться каждый день с зарей. Еще бы. Будильник этот мог разбудить мертвых. Амалия не знала, что я просыпался вместе с ней, ибо я ей об этом не говорил. Была ханжески стыдливой и в молодости, и в старости во всем, что касалось ее тела, предпочитала все скрывать. В девять вечера Амалия начинала готовиться ко сну. Следовало о многом позаботиться. К чистоте тела она относилась с большой педантичностью. Не буду распространяться об одежде, которую она складывала на стуле у кровати, тяжелой рабочей обуви в ее истрепанных работой руках. Лишь припомню церемонию накручивания пружины будильника и установки часа пробуждения. Церемонию эту каждый вечер сопровождали слова Амалии:

«Соломон, обрати внимание на несчастного старожилка в моих руках. Более тридцати лет гоняет этот прилежный старикашка, и без одной починки, даже самой малой».

И она поглаживала эту огромную жестянку, словно существо из плоти и крови. Во всех этих мелких деталях нет ничего особенного. Необычное же начиналось, когда Амалия прикасалась к первой пуговице на рубашке. Еще не расстегнув ее, она бежала гасить в комнате свет. А ведь много лет светила нам керосиновая лампа. Погасить ее и вновь зажечь требовало определенных усилий. И Амалия, женщина энергичная, усиленно надувала щеки, чтобы задуть огонь лампы, словно собиралась задуть костер. Пламя, естественно, усиливалось, покрывая копотью стеклянный колпак. Чистить же стекло предстояло мне. Признаюсь, что не из-за этой заботы я пытался убедить Амалию не задувать лампу перед раздеванием.

Нет. Не отрицаю, что были у меня серьезные причины просить мою жену раздеваться на моих глазах без церемонии задувания пламени лампы каждый вечер, в течение более сорока лет. Просто я полагаю, что все, что по своей природе должно быть открыто, и должно обнажаться. Но как это объяснить было Амалии? Хорошая душа моей половины упряма была, как

мул. Убедить ее в чем-то, что ею не принималось – дело безнадежное. А я старался, так старался, изо всех сил. Амалия не только гасила лампу, но бежала с рукой на пуговице к окну, прикрыть его занавеской, чтобы, не дай Бог, ни один лучик не упал на ее наготу, и чтобы не увидел ее даже птичий глаз. Я тем временем сидел в темноте и слышал, как шуршат одежды, спадая с ее тела. Раздевание у нее тоже имело свою церемонию. Каждую вещь она аккуратно складывала по множеству складок, платье завешивала в шкаф, и скрип дверцы каждый вечер резал по моим нервам. Затем раздавался ее голос в темноте: «Соломон, зажги свет, сдвинь занавеску, открой полностью окно!»

В отношении полного раскрытия окна Амалия была особенно решительна, ибо всегда сверх меры заботилась о здоровье. Десятки раз она была ответственной в комиссии кибуца по здравоохранению. И должность эту исполняла отлично. Накопила большие знания о болезнях, лекарствах, врачах, больницах, санаториях. Вообще обсуждение болезней было ее любимой темой. Она знала, чем болеет каждый член кибуца, и каждому давала полезные советы. И один из главных был: спать у открытого окна, весной, летом, осенью и зимой. Именно это больше всего выводило меня из себя. Во всех комнатах, где мы с ней проживали, занавески порхали на ночном ветру. Сколько раз она подтрунивала надо мной по поводу моего курения и черного кофе, и вот же, добрая и верная моя Амалия, несмотря на все свои медицинские знания, заболела раком, а меня он обошел.

Окно раскрыто, занавеска колыхается на ветру, как и все ночи с Амалией, но ночи эти беспощадно скучны – Господь, Бог ночи, изливает на меня свой гнев, посылает в меня все стрелы из своего колчана. Смилуйся надо мной, Господи. Но этот бог злой, не хочет слышать меня. Голос Амалии доносится шепотом из всех углов комнаты: «Чего ты переполошился, Соломон? Зажги в комнате свет, Соломон».

Когда же я зажигал свет, Амалия лежала в постели, прямая, как проведенная по линейке линия. Весной была покрыта верблюжьим одеялом до подбородка, летом – простыней, осенью возвращалось верблюжье, а зимой – пуховое. И всегда – до подбородка.

«И не читай допоздна. Соломон, отучись от этой дурной привычки. Эта маленькая настольная лампа портит зрение». Указание не портить зрение было последним ее вечерним указанием и началом погружения в сон. Голова ее падала на подушку, и она мгновенно засыпала. Я же растягивался рядом, зажигал настольную лампу и погружался в чтение до того, как ее будильник показывал двенадцать. И глаза мои, несмотря на возраст, видят нормально.

Распорядок жизни Амалии был постоянен. Только три раза в неделю порядок этот нарушался. Каждую среду в кибуце показывали кино. Она ожидала этого всю неделю. Вечером, за час до начала фильма, она бежала в столовую и обвязывала кухонным полотенцем два стула для нас. Я не поддерживал эти обвязывания. Но вам уже ясно, что мое влияние на Амалию было почти нулевым.

Необычным для нее был также канун субботы и субботний вечер. Уже в четверг она возвращалась раньше обычного с работы с тарелкой яиц, маргарином, мукой и еще какими-то добавками для приготовления субботнего пирога. В этот час я тоже был уже дома, лежал в постели и читал газету. Войдя в дом, Амалия тотчас приступала ко мне, требуя прекратить читать газету, облачиться в передник и начинать сбивать яичный белок, смешать маргарин с сахаром, выжать сок из лимона... Мне не трудны были все эти работы по приготовлению пирога, выводили из себя лишь всяческие связанные с этим патетические восклицания. В пять после полудни начинался канун субботы.

Адас, Мойшеле и другие гости приходят к нам, Амалия ставит пирог на стол и торжественно громким голосом провозглашает:

«Вот, пирог, приготовленный Соломоном».

Верьте или не верьте, после такого провозглашения у меня возникла боль в животе. Естественно, все хвалят Соломонов пирог. Не помогли никакие попытки с моей стороны

доказать, что мое участие в приготовлении пирога минимально. Меня призывали не скромничать. Не раз умолял я Амалию прекратить всю эту патетику. Не помогало. И каждый канун субботы, в пять после полудня она восклицала, а у меня начинались боли в животе.

Уже весь кибуц знал и верил, что я мастер по выпечке пирога. Все девицы завидовали Амалии, у которой муж такой прекрасный кондитер. Я ненавидел все это. Но нет и не было у меня претензий к Амалии по поводу действительно вкусного, ароматного пирога. Помогать ей в уборке квартиры каждый четверг после полудня она категорически не позволяла.

«У тебя обе руки – левые, Соломон. Невозможно на тебя положиться в деле уборки».

Платок на голову, тряпку от пыли, метлу, ведро, совок – в руки, и она трет, чистит, скребет и гонит меня по всей квартире.

«Уходи отсюда, Соломон, ну, уходи же».

Окна и двери распахнуты, вода течет из всех кранов, и нет у меня места, где присесть и дочитать газету. Только лягу на кровать, она тут как тут – поменять постельное белье. Нужно ли, не нужно – простыни и наволочки обязательно сменялись каждый четверг. Амалии доказать невозможно, что нет в этом необходимости.

Добрая жена моя аскетически заправляла, как и простыни, свою жизнь в принципы чистоты и порядка. Ах, этот четверг! Из года в год! Но было и нечто приятное в этом дне. Ведь вслед за ним приходила пятница, когда все уже было вычищено и упорядочено. И тут Амалия получала удовольствие, приволакивая из подсобки выстиранные горы белья и одежды, – гладить их и складывать, – трусы и майки, носки и платки, платья, брюки, рубахи. Все это было упорядочено в шкафу, как строй солдат, готовый к параду. Не могу не признать, что наводимые ею порядок и чистота упорядочивали и мою жизнь. Хотя на такого явно богемного человека, как я, у которого вечный беспорядок в душе и сознании, эта упорядоченность не производила особого впечатления.

В пятницу, после обеда, выходила она поработать в огороде, выпалывая любой сорняк. Всегда в руках ее были цветы, которыми она украшала квартиру, чтобы в ней ощущался вечный праздник. В душевой нагревается вода. В пятницу – душ особый, не такой, как в будни. Амалия облачается в праздничное платье, я – в чистую белую рубаху. Остается у нас час до ужина, и это час особый. Оба сидим, раздетые, вычищенные, пахнущие, расслабленные, в нашей прибранной и вылизанной квартире, играем в шахматы, как в дни молодости. Только тогда мы играли в читальном зале, а последние годы – в нашей квартире.

Все годы я был чемпионом, а она почти чемпионка, но в пятницу я давал ей фору, чтобы и она ощутила вкус победы. После партии идем в столовую на праздничный субботний ужин и не возвращаемся домой, как в обычные дни, а направляемся в дом культуры, выпивая на десерт стакан чая, закусывая его беседой с друзьями.

Поздно ночью возвращаемся домой, и квартира все еще пахнет чистотой, и ждет нас вытуженная белизна постели.

Решительным движением руки отодвигает Амалия свой чудовищный будильник, и глаза ее тихи, мягки, щеки пунцовеют. Амалия – женщина как все женщины! Нравится она мне, ее мужу, но даже в субботнюю ночь, коснувшись пуговицы, она бежит гасить свет и опустить занавески на окнах. Именно в субботнюю ночь, когда мы особенно близки, она еще более беспокоится, чтобы окна были абсолютно закрытыми. Мне же так хочется отбросить занавески и дать свету от фонаря омыть наши тела.

Следующий день – сама священная суббота – также необычна. В этот день Амалия обычно спала до десяти. У меня же сон намного слабее.

В послеполуденные часы начинала она готовить стол к приходу гостей. Точно в пять часов у нас появлялись Адаш и Мойшеле, усыновленные нами дети. Бедная моя Амалия не могла рожать.

Вечером общее чаепитие в столовой было временем начавшегося еще в канун субботы обсуждения накопившихся в кибуце проблем. Мы с Амалией почти всегда участвовали в этом обсуждении. Причем Амалия обычно в эти часы вязала свитера, жилеты, рубахи. Километры связанных нитей, центнеры пряжи – во время таких обсуждений. Но только мы возвращались с этих дискуссий, глаза ее были уже напряжены: она начинала накручивать свой трескучий будильник. И тут я подхожу к главному.

Рассвет в воскресенье, первый день недели, я особенно любил. Я вообще люблю раннее утро, тихое, мягкое, близкое покою души. И тут раздается треск жестяного чудовища. Амалия вскакивает босыми ногами на холодный пол, сбрасывает пижаму и, абсолютно нагая, как в день своего рождения, бежит к окну делать утреннюю зарядку. Естественно, старается, чтобы снаружи ее никто не увидел. Но она не знает, что я вижу ее из постели, притворяясь спящим. Усиленная утренняя гимнастика в нагом виде является также одним из ее принципов сохранения здоровья. В эти ранние часы наконец-то я видел свою жену раскрытой до предела. Но утро чаще всего бывало серое, вползающее в комнату и навешивающее свою серость на все вокруг и, в том числе, на мою нагую Амалию. И я как бы видел и не видел ее из-за полузакрытых глаз, и она казалась мне незнакомкой, написавшей мне когда-то любовное письмо.

«Соломон, любимый...»

Амалия, тем временем, занята гимнастикой у окна. Сначала напрягает все тело и возносит руки вверх. И я дорисовываю в воображении две мягкие гибкие руки, окунутые в свежий утренний ветерок. Руки Амалии не были мягкими и нежными. Тяжелая работа в течение многих лет сделала кожу ее рук шершавой, покрытой мозолями. Амалия дышит глубоко в заданном ею самой себе ритме. А мне кажется, что ритм этот задал ей этот чудовищный будильник. Я человек тихий, мне ненавистен шум и треск. Стараюсь не прислушиваться к вздохам Амалии. Она, тем временем начинает скакать, и груди ее, твердые и красивые, прыгают в такт скачкам. Про себя я зову жену мою «птичкой», «фейгеле», маленькой полевой птичкой. Но себе признаюсь, что не Амалии, занимающейся утренней гимнастикой, обращено это слово, а незнакомке, написавшей мне любовное письмо: «Птичка, любимая моя...»

Чего это вдруг я называл ее «птичкой»? Почему «моей полевой птичкой»?

Связано это с памятью детства. Однажды воробей влетел в наш дом. Мама помогла мне его поймать. И я гладил и целовал этого серого воробышка, а он судорожно трепетал в моей руке. Мама посоветовала мне отпустить его, потому что «птица любит волю». «Но я люблю воробья» – ответил я маме. «Если ты его и вправду любишь, отпусти на волю».

Отпустил я его и после много дней думал о нем. Почему он трепетал в моих ладонях, ведь я же его так любил. И тогда пришла мне впервые мысль, что не всякая любовь обоюдна. И не любой, которого ты любишь, любит и тебя. Но если любовь твоя истинная, дай свободу любимому тобой существу. Вот я и дал тебе свободу, полевая птичка моя. Не пошел я искать тебя, незнакомка, чтобы поймать в свои сети. Где-то ты живешь, полевая моя птичка, на каком-нибудь винограднике, живешь на воле, заключенная лишь в клетку моей души.

Амалия у окна продолжает бить поклоны, вниз – вверх, вниз – вверх, и тело ее в утреннем свете, как тень, качающаяся на ветру, и полотенце, которым она обмотала бедра, раскрутилось, как и занавеска над ее головой. Мною овладевает сильнейшее желание вскочить с постели, обнять жену, сбросить с голого ее тела этот серый пепельный свет. Но из покрывала этого света выскочит не Амалия, а та самая полевая птичка моих сновидений. Глазами вижу Амалию, кланяющуюся полу и потолку, но обнимаю-то полевую мою птичку, и волшебство сна объемлет меня. И я ругаю, даже проклиная себя:

«Соломон, ты просто дикарь!»

Да что толку в этих проклятиях? Всех их уносит ветер. Птичка каждое утро – в душе моей и в духе. Каждое утро она возбуждает мне кровь. В свое оправдание могу лишь сказать, что не было у меня иного выхода. Годами сдерживать страсть, видя по утрам нагой свою жену

вполглаза, в серых сумерках рассвета, дело вовсе нелегкое. И я могу себе простить это бегство от жены к прекрасной и нежной незнакомке моих сновидений. Так вот я грешил по отношению к своей жене Амалии почти сорок лет.

Прошли все эти утра, прошли годы, лишь жестяной уродливый великан трещит по сей день. Он заполняет квартиру, из которой исчезли все голоса, изводящим душу звуком, и я продолжаю его накручивать каждый вечер.

Этот мерзкий будильник, задававший нам ритм жизни столько лет, продолжает и в эти одинокие мои ночи задавать ритм всех моих размышлений. Он мне ненавистен, эта уродина. Просто ненавистен! Ах, Амалия, Амалия, если бы только последовала моему совету вышвырнуть эту вещь, тишина и покой были бы в обители моего проживания. Господи! Проще простого протянуть руку к тарахтящему великану и остановить его шестеренки. И конец этому треску стольких лет! Квартира пуста. Я одинок. Могу делать, что мне заблагорассудится. Что было, то было, и не обязательно должно продолжаться. Но почему рука моя замирает? Не я, а рука моя не позволяет себе это сделать. Я уже болен желанием шума в этой безмолвной ночи. Но ветер свернулся в горах, будильник Амалии трещит, и я продолжаю его каждый вечер накручивать. И будет он продолжать свой бег, как все годы. Я ненавижу его. Господи, как я ненавижу эту старую жестянку, оглушающую меня. Но нет у меня сил – протянуть руку к вещам Амалии. Не дозволена мне власть над брошенными вещами.

Надо мной властвует злой бог ночи. Окно открыто, как и во все ночи с Амалией. Занавеска колышется на ветру. И вновь проснусь утром, и занавеска будет продолжать развеиваться на чистом утреннем ветру. Окно пусто и безмолвно, занавеска колышется в этой пустоте. Нет Амалии, кланяющейся полу и потолку, значит, и нет птички сновидений в моих объятьях. Вместе с Амалией ушла и полевая моя птичка. Сновидение умерло вместе с Амалией...

«Что ты ленишься, Соломон? Встань и зажги свет».

Повелевающий голос Амалии звучит в пустой комнате. Я встаю, чтобы выполнить ее указание. По сути, я всегда делал то, что она просила или приказывала. Лампы отчужденно, без всякой жалости, сеют свой свет на все предметы в комнате. В вазе нет цветов. Пыль покрывает всё. Газеты разбросаны на стульях и креслах, даже на комод из тикового дерева – гордости Амалии.

Вчера Адаш решила навести порядок в квартире. Не дал ей этого делать. Что вдруг? Нет, что ли, у меня сил самому навести порядок в моей обители?

Так уж я разленился после смерти Амалии? Нет. Да, я побежден, но не сдаюсь. Есть еще у меня силы. Да. Мне уже за шестьдесят, но я чувствую в себе еще много сил, требующих выхода, подобно аккумулятору без трансмиссии, и в нем множество клапанов, и каждый раз через какой-то из них врываются силы без всякой пользы. Злой мой бог, да, я стар, но, несмотря на возраст, чувствую себя, как созревший плод, который слишком долго висел на ветке, началось в нем брожение, но никакой пользы от этого.

Я знаю, что ничего не сделаю. Никогда ничего не сделаю. Электрический свет мне мешает. Этот сильный свет охлаждает мою горячность, ослепляет мои глаза и сердце. Амалия всегда хвасталась, что у нее в квартире восемь источников света. Большая люстра с семью подвешенными лампочками. Что со мной творилось, когда она зажигала все восемь? А теперь они составляли мне общество в пустой ночи. И будильник Амалии, показывающий без пяти двенадцать? Через эти пять минут завершится первое апреля горькой шуткой моего существования. Есть у тебя пять минут, Соломон.

Первым делом, погашу весь свет. Зажгу свечу. Праздничная ночь. Поставлю свечу на подоконник. Дрожит пламя, бросая на стену трепещущую тень. Что я делаю, пока горит свеча? Я пишу. Это не просто мелкие записи. Я пытаюсь рассказать, что происходило в последние годы нашей жизни. С какой целью? Быть может, потому, что пришел день, когда уже нельзя разбазаривать время. Я – как мелкий торговец, считающий гроши один к одному, собираю,

храню, – дистанцируюсь, как монах, от роскоши мира, чтобы добыть ломоть хлеба моему дому. Нет, я богач, который растратил свое богатство щедрой рукой, без всякого счета, и теперь считаю часы, дни свои, силы и возможности, и храню то малое, что мне еще осталось. Во имя этого малого я смогу стоять на страже. Чтобы продолжать жить, мне необходимо кричать, звать на помощь самого себя. Молодые говорят, что привилегия крика, клича, сигнала тревоги принадлежит им. Старикам – молчание. Нет! В молодости я слишком много молчал и мало кричал. Думаете, я, Соломон, молчал из скромности? Я не страдаю скромностью. Как и не являюсь отличным кондитером. В молодости говорил мало, ибо не было о чем говорить. Молодые заняты сверх меры своей молодостью. Теперь, когда я постарел и овдовел, у меня есть, что сказать. Тяжки по утрам счета с прошлой жизнью. Тяжки по утрам грешки мои малые, накопившиеся за последние годы; дела, уже покрывшиеся плесенью, и все же поднимающие головы по утрам и распространяющие ядовитый запах. Когда же придет очищающий поток? Просветляющая жизнь река, которая омоет и очистит? Тут, у стола, в трепещущем пламени свечи? Нет. Лишь крик очищает. Крик во имя просветления и очищения. Не уверен, что молодые мои поймут меня. Просветление и очищение необходимы человеку, глядящему в прошлое, а не молодым, глаза которых обращены в будущее. И все же явлюсь со своим предложением к Адам, Мойшеле и Рами. Занесем все на бумагу. Амалия дала бы на мое предложение ясный ответ:

«Снова блуждаешь во сне, Соломон».

Да. Я блуждаю во снах. Пока я мечтаю, я жив. Умрут мои мечты и сны, умру и я.

А я... я хочу жить.

Глава третья

Адас

Дорогой мой дядя, я была удивлена, вернувшись после полудня с работы в кухне и найдя твое письмо. Ты предлагаешь помочь тебе найти выход из лабиринта, в который мы все попали, изложить на бумаге все, что случилось с нами. По правде первой моей реакцией было – отвергнуть твое странное предложение. Я – девушка, умеющая держать язык за зубами. Не могу ничего сказать более того, чем то, что я Адас Домбровски, замужем за Мойшеле, и мне двадцать один год. Все это записано в моем удостоверении личности. Добавить к этому все, что со мной происходит? Дядя Соломон, я не привыкла говорить о себе.

Отодвинула я твое письмо и прилегла на кровать отдохнуть, но не уснула. А продолжала думать над твоим предложением. И сопротивление мое начало ослабевать. Ты пишешь, что сама запись явится источником очищения для всех нас. Если это возможно, я готова. Что же касается твоего предложения писать это как рассказ для публикации, словно бы я отчуждена от самой себя и пишу о некой другой Адас, так это мне очень нравится. Я ведь всегда мечтала быть писательницей. Да и скучно мне по вечерам. Мойшеле еще в армии, да и Рами в армии. Месяцами их не вижу. Рами даже не приехал на похороны тети Амалии. Мойшеле приехал, но ко мне так и не явился. Все время находился у тебя. Исполню твое желание, дядя Соломон, напишу рассказ об Адас. Может, мне и полегчает и улетучится горечь.

Мой отец и мой дядя Соломон – братья. Раньше они звались Иосиф и Соломон Моргентау. Отец сменил имя на Иосеф Бен-Шахар, дядя же Соломон повторяет не раз: «Что мое, то мое, и я ничего не меняю. Моргентау мы были много поколений, и нет нужды менять фамилию предков в Израиле». Мойшеле такого же мнения. Не раз я просила его поменять нашу польскую фамилию на иврит – скую, но Мойшеле ясно дал понять, что имя отца должно остаться у сыновей.

Как охарактеризовать огромную разницу между отцом и дядей? Соломон, первенец, родился в 1903 году. Мой отец – в 1913. Даже внешне они абсолютно разные. Соломон среднего роста, широкоплечий и мускулистый. Я еще помню его черную шевелюру, кудрявую и вечно непричесанную. Волосы выпали, остались лишь черные брови. Глаза бегают по лицам и пейзажам, словно глотая и пожирая окружающий мир. Выделяется лоб, покрытый глубокими морщинами. Дело привычное для старика, но морщины у него прямые, как будто их провели по линейке на гладкой бумаге. Лицо дяди Соломона всегда чисто выбрито, всегда серьезно и полно собственного достоинства. Видно, как годы и события отложили свой след на его лице, вылепили его. Кончики рта опущены вниз. Я не могу сказать, красив ли дядя. Понятия красоты и безобразия как бы и не относятся к его лицу. Но в него можно погрузиться, как в книгу, от которой невозможно оторваться.

У отца моего волосы светлые. Глаза небольшие, голубые. Он невысок и стремителен в движениях. Прямолинеен, как и его прямой нос. Разговаривая, бьет себя в грудь и выпрямляет спину. Работает чиновником в налоговой инспекции. Много лет назад и он был членом кибуца, того самого, где проживает дядя, но родители мои оставили кибуц. Все годы дядя Соломон занимался общественной деятельностью – был казначеем кибуца, секретарем, руководил объединением по выращиванию кур, занимался партийной деятельностью. Должность нагоняла должность, как смена одного года другим. В те годы, когда я была ребенком, а потом и подростком, я всегда была свидетелем того, как, только встретившись, отец и дядя вступали в жестокий спор. И ни мама, ни я не могли их разнять. Отец мой был уверен в том, что государство существует только за счет налогов. Гражданин обязан платить налоги и больше ничем государству не обязан. Дядя же считал, что граждане обязаны государству многим. Не только оплатой

налогов. Дядя, человек спокойный и покладистый, вдруг становился непреклонен. А ведь он и вправду молчун. На меня он оказал большое влияние, даже этой своей молчаливостью. Отец своей постоянной говорливостью на меня почти не оказал никакого влияния. Больно говорить об этом, но – правда прежде всего.

Родилась я в Тель-Авиве. Много лет прожила там. Дядя Соломон приезжал часто в Тель-Авив по своим общественным делам и заходил к нам. Брал меня гулять по набережной, всегда в один и тот же час, когда солнце начинало садиться в море, окрашивая в багрянец небо и воды. На горизонте обозначались серые дома Яффо на фоне заката. Мы снимали сандалии и погружали босые ноги во влажный песок. Ящик от продуктов, кем-то оставленный, служил нам скамьей. В компании дяди-молчуна и я помалкивала. Сидим себе, набираем песок или ракушки между пальцами ног и разбрасываем по сторонам. Шум волн вливается нам в уши, а движение волн – в глаза. Волны мягко ударяли по нашим ногам, затем возвращались в глубь моря, и мы следили за ними до их исчезновения среди других накатывающихся волн.

Темнело всегда внезапно. Мрак мгновенно связывал молчаливое небо с шумом вод.

Выше нас, по всей набережной зажигались огни. Узкие полосы света протягивались по берегу, освещая белеющие пеной лужи и белую оторочку волн. За этой белизной темень протягивалась к горизонту и к окраине Яффо. С приходом темноты берег начинал жить какой-то отдаленной жизнью, отдаленной от жизни города. Шум волн, треск раздавливаемых обувью ракушек перекрывал городские звуки. Влюбленные пары возникали из темноты, окунаясь на миг в лучи света, проходили мимо нашего ящика и исчезали опять в темноте, усиливаемой вокруг световых лучей, трепетно протягивающихся от фар автомобилей, несущихся по прибрежному шоссе, над нами. Иногда возникал одинокий странник, идущий по самой кромке моря. И тогда с дядей происходило нечто странное. Он спрыгивал с ящика и напряженно всматривался в человека.

Разглядев лицо, он возвращался разочарованный и вновь садился на ящик. Я спрашивала его:

«Кто это был, дядя Соломон?»

«Я думал, что это некто».

«Но это и был некто».

«Да, но некто чужой».

«А кто же некто твой?»

«Друг».

«И как зовут друга?»

«Элимелех».

«И он должен явиться к тебе из моря?»

«Он может явиться даже из моря».

Глубокая печаль слышалась в голосе дяди, и он вглядывался в темную шумящую морскую даль. А некто чужой уже был поглощен теменью, шел вдоль кромки воды, освещая себе путь маленьким карманным фонариком. Тонкий лучик качался и уходил все дальше, пока не становился подобным дальней звезде, мерцающей и исчезающей во мраке ночи. Дядя следил за этой светящейся точкой, как за исчезающей во мгле надеждой.

Мы продолжали молча следить за движением волн. Вдали, где небо сливалось с морем, волны исходили пеной, вздымались и чудилось ржанье рыцарской конницы, несущейся на нас. Но с приближением к берегу их пафос постепенно иссякал, слабел, сглаживался. Дядя Соломон глубоко вздыхал, и это явно было связано с другом его, Элимелехом, который должен явиться к нему из моря.

«Дядя Соломон, когда же придет к тебе твой друг Элимелех?»

«Кто знает, детка».

«Ты его любишь?»

«Очень».

«И он тебя любит?»

«Очень».

«Так почему же он не приходит?»

«Кто знает, детка, кто знает».

Дядя снимал одну из своих сандалий, наполнял песком, опрокидывал и следил за струйкой, текущей и сливающейся с прибережным песком. И печальная нездешняя улыбка блуждала на его губах, словно бы все, что занимало и мучило его днем, в этих сумерках оборачивалось никчемностью, пустотой. И он снова вздыхал, и я понимала, что мы пришли на берег Тель-Авива, чтобы дожидаться Элимелеха. И я старалась рассеять печаль дяди, и я говорила ему:

«Элимелех обязательно вернется издалека. Быть может, из Индии?»

«Может, из Индии».

«Что он там делает, в Индии, дядя Соломон?»

«Он там – принц. Он вырезает по дереву, лепит из глины, отливают из бронзы, вытесывает из мрамора или розового камня, чеканит по меди, пишет прекрасные тексты на бумаге».

«И у него есть принцесса?»

«М-м-м... Есть».

«И как ее зовут?»

«М-м-м... Зовут ее Эвелия – Скорбящая».

«Это что, индусское имя».

«Нет. Это вымышленное имя».

«Дядя Соломон, ты рассказываешь мне байки. Чего это вдруг у тебя есть друг – индусский принц?»

«Быть может, он и не индусский, но, несомненно – принц».

Смотрит дядя на темные скалы, торчащие из вод, как древние окаменевшие морские существа. Сердце мое просто разрывается от этой неотступной печали на лице дяди, и я пытаюсь его развеселить. Я беру его за руку и бегу вдоль кромки вод, разыскивая морских рачков, которых приносят волны, оставляя их на отмели, и они запираются в своих панцирях, пока очередной пенный набег волн не покроет их водой и пеной, и они пробуждаются к жизни и выползают наружу. Мы следим за этой игрой волн с рачками и смеемся.

Смех смягчает черты лица дяди. Он ведет меня в магазинчик и покупает мне йогурт.

В общем-то, йогурт я не любила, но дядя Соломон говорил:

«Ешь, детка, это ведь йогурт особый. Его производит компания «Тнува». Ты понимаешь, «Тнува»!»

Для него это звучало не менее свято, чем упоминание о пропавшем друге.

«Тнува» была оригинальной израильской компанией по сбыту молочных продуктов, и она вызывала у дяди особую гордость.

«Я проглочу этот йогурт, дядя Соломон, только при условии, что ты мне расскажешь о своем друге. Только правду, а не всякие сочиненные тобой байки».

«Он был праведником, детка, аскетом, истязавшим плоть, всю жизнь был одинок и чурался всех удовольствий этого мира. А почему? Потому что в нем еще одна дополнительная душа, предназначенная для великих дел. Праведник Элимелех всю свою жизнь был подавлен, удручен, измучен. Ибо не знал, почему Бог удостоил его этой душой, которой он считал себя недостойным. И потому решил стать отшельником, день и ночь поститься и пребывать в молитве...»

«Дядя Соломон, я не понимаю. Что это вдруг он праведник? Лучше бы уже индусский принц».

«Нет. Он – праведник. И он всеми силами пытался познать, для какой цели ему дана эта вторая, а быть может, и первая – душа, и почему он ее удостоился. Долгие годы он прожил так, и единственной его радостью было – одиночество».

«Но, дядя Соломон, ты забыл, что у него есть жена, Эвелия».

«Эвелия была у него, когда он был индусским принцем. Теперь же, когда он праведник, нет у него жены».

«Так он что, каждый раз кто-то другой, твой Элимелех?»

«Каждый человек каждый раз кто-то другой или что-то другое. А теперь ешь йогурт».

«Нет. Сначала расскажи мне все до конца».

«О праведнике Элимелехе?.. Ну, прошли долгие годы его аскетической жизни, без отдыха, лишь с молитвой. После многих лет освобождение от этой дополнительной души не пришло. И тогда праведник Элимелех сказал себе: все эти зряшные мечты и чумные сны уничтожились. Встал, оставил свое жилище, вошел в море и исчез».

«Он вернется, дядя Соломон, я уверена, что вернется».

«Конечно же, вернется, детка. А теперь ешь йогурт, Ада».

И я глотала нелюбимый мной йогурт во имя любимого дяди.

Однажды дядя Соломон приехал и, как обычно, взял меня на набережную Тель-Авива. Нашли наш ящик, уселись, дядя говорит:

«Знаешь, я обнаружил Элимелеха».

«Обнаружил? Где?»

«В Иерусалиме».

«Возьми меня к нему».

Дядя замаялся, и я поняла: не возьмет он меня к своему Элимелеху. Ведь это его праведник. С этого момента, как нашел он своего исчезнувшего друга, так и перестал рассказывать байки о нем. Я называю имя его друга, а дядя молчит. Одно лишь запечатлелось в моем сердце – Иерусалим это город Элимелеха.

Пришло время, и переехали мы жить в Иерусалим. Отца моего назначили важным чиновником в региональное управление по налогам. Но связь с дядей Соломоном не прервалась. Во-первых, у дяди были дела и в Иерусалиме. Я же все каникулы проводила в кибуце у дяди Соломона и тети Амалии. Детей у них не было. Отец и мать обычно говорили, что любовь дяди Соломона ко мне связана с тетей Амалией, которая так и не родила ему детей.

Отец купил небольшой домик на склоне, и скальная земля Иерусалима каменным своим взглядом упиралась в наши окна. Отец пытался осуществить свою давнюю мечту, копать в земле. В нашем небольшом садике разбивал камни, насыпал грядки, сажал цветы и овощи. Вдоль тропинки посадил кипарисы, которые поднялись остриями высоко в небо.

Отец выращивал морковь, капусту, редьку, несколько деревьев – дум-пальм, которые, в общем-то, не прижились. Каждый день после работы он допоздна ковырялся в огороде, а мама говорила, что нет никакой пользы в выращивании овощей. Ведь все это можно приобрести на рынке за гроши. Просто жаль на это времени. Но отец, который во всем уступал матери, в деле огорода проявлял завидное упрямство. По сей день, придя с работы, он снимает с себя костюм, надевает шорты, старую рубаху и сандалии, и работает в саду дотемна. Возвращается и долго с удовольствием отмывает руки от земли, задумчиво наблюдая за тем, как земля уплывает со струей воды, и при этом глубоко вздыхает, точно как дядя Соломон, который, посещая нас, выходит с отцом работать в огороде. С дядей и я бы выходила помогать на огороде, что и делала в каждый его приход. И оставалась с ним даже тогда, когда отец, вернувшись с работы, ужинал. А мы всматривались с дядей в окружающую нас первобытную тьму. Город еще не доходил до нашего дома. Узкая тропинка спускалась от нас в глубокую долину, над которой высились оголенные холмы и небольшие лоскутки земли между скал. Лоскутки были темными, а скалы и валуны светились в лунном сиянии. За этими серебристыми холмами лежал Иерусалим со

всеми своими стенами и башнями, посверкивая множеством огоньков. Мы с дядей сидели на одной из грядок, и он говорил мне:

«Капуста даст большой урожай».

Из дома доносился голос мамы, упрекающей отца за грязь в рукомойнике. Затем голос ее обращался к нам, звал в дом, к ужину. Мы же не двигались с места и молчали. И тут дядя глубоко вздыхал. Я тоже вздыхала, и он тут же спрашивал:

«Что-то случилось, детка? Есть проблемы?»

«Есть».

«Они у всех, Адас».

Сразу становилось легче на душе. И все же оставалась какая-то горечь. Имя у этой горечи было – Элимелех.

В каждый приход мама спрашивала дядю:

«Как дела у Элимелеха?»

«Жив».

«А его сын?»

«Живет с ним».

«Ты сегодня идешь его проведать?»

«Да».

«Так тебе не надо стелить?»

«Не надо».

Мама начинала чихать. Всегда, начиная разговор об Элимелехе, она начинала чихать. И этим завершался ее разговор с дядей. На все мои вопросы дядя давал уклончивые ответы:

«Дядя Соломон, кто же, в конце концов, этот Элимелех, и кто его сын?»

«Элимелех это Элимелех, а сын это сын».

«И ты сейчас идешь к нему?»

«Иду к нему».

«Почему ты не берешь меня с собой?»

«Потому что не беру тебя с собой».

Любопытство не отпускало меня, и после ухода дяди я приступала к маме:

«Куда пошел дядя Соломон?»

«К другу»,

«Кто его друг?»

«Друг это друг», – и мама снова начинала чихать.

«Что это за бесконечное чиханье?» – возмущался отец.

«Папа, кто этот друг дяди Соломона?»

«Друг это друг».

Получалось, что Элимелех не только секрет дяди, но и моих родителей, и любопытство просто сжигало меня до того зимнего дня, когда ветер свирепствовал в городе, дождь хлестал в окна, плясал вместе с ветром на черепицах нашей крыши. Мы обедали, как вдруг в дом ворвался дядя Соломон. Вид его был ужасно смешным: он был в длинном синем плаще, с которого стекала вода, образуя лужи вокруг его ног, руки были оттопырены, и с рукавов тоже струилась вода. Даже шляпа, которую он имел обыкновение носить зимой вместо летней панамы, истекала слезами. Мы с удивлением, замерев, смотрели на него, и он воскликнул:

«Элимелех умер!»

«Когда?» – вскрикнула мама.

«Ночью... Сердечный приступ».

«И когда похороны?» – спросил отец, как всегда, во время и по делу.

«Завтра, в десять».

«В такой ливень?» – слезы текли из глаз мамы.

«Ну и что?» – почти упрекнул ее отец. – Похороны откладывать нельзя».

«А сын! Господи, Боже мой, что будет с его сыном?» – продолжала плакать мама.

«Есть, кому о нем позаботится, – сухо сказал дядя и тут же исчез за дверью с той же неожиданностью, с какой возник из нее. Молчание воцарилось в комнате. Только слышен был шум дождя.

«Завтра и я пойду на похороны», – сказала я.

«Нет!» – отрубил отец. – Ты останешься и приготовишь обед для нас и для гостей».

«Да, – поддержала его мама, – сделай это для меня, Адас... Я пойду на похороны Элимелеха».

В день похорон шел мелкий колючий дождь. Отец надел темный костюм, который одевал в дни праздников и поминовения. Мама тоже надела темное платье и покрыла голову черным платком. Она внезапно стала не похожей на себя. Печаль и скорбь были на ее лице. Я же все утро готовила, как в праздничные дни.

Часов в пять пришли отец, мама, дядя Соломон, тетя Амалия и с ними тощий, худосочный подросток. На бледном, под черным растрепанным чубом лице лихорадочно блестели темные глаза. Одежда на нем была старая, обувь мокрая с прилипшей к ней комьями кладбищенской землей. Никто не потребовал от него снять обувь. Даже мама. А она ведь всегда строго следила за тем, чтобы в дом не входили в грязных туфлях.

Мама представила мне парня:

«Это Мойшеле, сын Элимелеха».

Он скосил на меня глаза и не издал ни звука. Тетя Амалия сказала:

«Адас, сколько тебе лет?»

«Пятнадцать лет, три месяца и восемь дней, тетя Амалия».

«Нашему Мойшеле семнадцать. Верно, Мойшеле?»

Парень не открыл рта. Я не успела удивиться этому – «нашему Мойшеле», как мама позвала всех к столу, и все тут же стали хвалить приготовленные мной блюда. Только Мойшеле даже не притронулся к еде. Каждый раз при упоминании моего имени он устремлял на меня свой лихорадочно блестящий взгляд. Тетя Амалия обратила внимание, что парень ничего не ест, и весьма обеспокоилась:

«Мясо, детка, ешь мясо. Случилось то, что случилось, но есть надо».

«Верно, Мойшеле, есть надо. Возьми мяса, детка», – с необычной мягкостью в голосе сказал дядя Соломон. Парень ткнул вилкой в мясо, но не донес до рта, вилка с мясом повисла в воздухе, мясо соскользнуло обратно в тарелку. Опустил парень голову. Дядя Соломон сказал:

«Выйдем в сад, детка. Ты ведь еще не видел, какой здесь чудесный сад».

«Ну, как ты выйдешь в сад в такой пасмурный день?» – возмутилась тетя Амалия.

«Что можно увидеть в совсем замерзшем саду?» – добавил отец.

«Нечего там показывать», – поддержала его мама.

Но дядя Соломон встал, взял парня за руку и пресек все разговоры:

«Увидим то, что увидим».

Примерно через полчаса я пошла за ними. Веранда нашего дома открыта, и с крыши дома текли струи воды. Дядя Соломон и Мойшеле стояли под козырьком крыши. Одной рукой дядя опирался о край веранды, другую положил на плечо Мойшеле. Так они стояли, глядя на завесы дождя, омывающие дома и стены Иерусалима. Я сказала им:

«Возвращайтесь в дом. Тут же ужасно».

Поглядел дядя Соломон на свои ботинки в комьях грязи с кладбища:

«Сначала надо обувь почистить».

Нашел на веранде нож, спустился в сад и стал ножом счищать грязь с подошв. Сумрачность дня делала печаль его улыбки еще более глубокой. Поставил оба своих ботинка на край

веранды и тяжело вздохнул. Мы с Мойшеле стояли, не издав ни звука, изредка поглядывая друг на друга. Тут появилась тетя Амалия:

«Где вы? Время позднее. Пора в дорогу».

После их отъезда в нашем доме не прекращались разговоры отца и матери о дяде и тете и мальчике Мойшеле, которого они усыновили. Дядя больше у нас не появлялся, оставил должность секретаря кибуца и все общественные дела, чтоб заняться воспитанием парня. Отец по этому поводу иронизировал, но мама защищала дядю:

«Ты чего? Наконец сбылась мечта всей жизни. Есть у них свой сын», – тут на нее напала чесотка. – Бедный Элимелех», – добавляла она.

Лицо отца становилось грустным, а мамино лицо светилось печалью.

Да и мне весело не было. Я скучала по дяде и ужасно ревновала к усыновленному ими парню. Однажды я взяла и написала дяде письмо. Он тут же приехал. Отец и мать встретили его с явным недовольством:

«Ну, Соломон, наконец-то вспомнил о нас, а?»

«Вспомнил, – сказал дядя и взял меня за руку, приглашая на прогулку. Повел меня в какой-то иерусалимский переулок, словно бы вытесанный между двумя прямыми стенами, сложенными из тяжелого камня. Дома сливались воедино, повторяя друг друга небольшими квадратными окнами, забранными в железные решетки. Казалось, окна вглядывались внутрь, а не наружу. Только узкие двери были распахнуты, и на завалинках сидели старики, как белеющие растения, прорастающие из этих стен, сидели, казалось, с момента возведения этих замкнутых в себе жилищ.

Все они знали дядю и здоровались с ним. В конце переулка дядя остановился перед узкой деревянной калиткой, покрашенной зеленой облупившейся во многих местах краской, сдвинул крюк. Калитка со скрипом распахнулась, впустив нас в маленький дворик, окруженный высокими каменными стенами и изгородью колючих кактусов. Посреди вымощенного камнем двора, в небольшой пяди земли, высилось искривленным стволом фиговое дерево. Из окон выглядывали лица, обрамленные пейзами, слышался говор. Запах влажного после стирки белья мешался с запахом прожаренного масла. Все здесь было узко, низко и невелико. Около двери стояла пара потрепанных ботинок без шнурков.

Дядя Соломон открыл огромным ключом небольшую дверь, мы вошли в темную прохладную комнату, и нас обдало запахом пыли и старых вещей. Окна были закрыты, и чья-то рука начертала на пыльных стеклах разные линии, напоминающие формы раковин. Когда глаза привыкли к темноте, можно было различить две кровати, покрытые арабскими ковриками, письменный стол и несколько скамеечек. На столе лежала скрипка, стояла чернильница с высохшими чернилами и торчащей в ней ручкой с заржавленным пером. На старом примусе, около одной из кроватей, стоял задымленный котелок для кофе. На скамеечке пылился пустой стакан и тубик с таблетками, а рядом, на полу, груды старых газет.

У стены табунились деревянные статуэтки животных и людей – от слона до мыши и от старика до младенца. Пепельница была забита окурками. Все углы под потолком были затянуты паутиной, а в одном из углов пылилась метла. В комнате не было никого, но ощущение живой души не покидало вошедшего, словно бы она, душа эта, только-только покинула дом, и вот-вот вернется. Я даже повернула голову в сторону двери. И тут непривычным для него голосом дядя сказал: «Тут жил Элимелех, мой незабвенный друг». Я молчала, поглядывая на метлу, словно бы предназначенную для чертей и привидений, чтобы на ней верхом они летали по комнате. Я помнила все, что рассказывал мне дядя о своем исчезнувшем друге, и сказала:

«Кем же он был взаправду, твой друг Элимелех, индусским принцем или праведником?»

«Праведником, детка. Странствовал по миру в поисках дополнительной своей души. Для этого сбрил бороду, сбросил одежды хасида и начал странствовать. Не было ремесла, которым бы он не занялся, и не было искусства, к которому не приложил бы руку. И не было радости,

которая не посетила бы его, наслаждений тела и духа, которые бы не испытал. Все запреты в мире он нарушил в надежде, что исправлением обнаружит, разбудит эту дополнительную душу. Однажды он пьянствовал в корчме одной приморской страны, грязно ругался, опустившись на самое дно скверны. Внезапно какая-то мысль искрой пронзила его сознание, он встал, вышел из корчмы, увидел девушку в ветхой одежде. Платок ее развивался на зимнем ветру, и обувь на ее ногах была рваной и грязной. Девушка просила милостыню. Сунул хасид руку в карман, а там пусто. Удивился хасид, ставший великим грешником, вспомнил, что вынесла его из корчмы пронзившая душу его тоска по той самой дополнительной душе, и начало в нем бороться злое начало с добрым. А девушка стоит перед ним, рот искривлен, в глазах слезы. Ждет милостыни. Сказал:

«Извините меня, госпожа-красавица, забыл я кошелек дома. Соизволит госпожа пойти под моим покровительством до моего дома, и я одарю ее всем, что у меня есть».

И пошла она за ним. В доме своем вскипятил он воду, омыл ей лицо, расчесал волосы, отер ей ноги, напоил и накормил, уложил спать. Приняла она все это с покорностью. Пригляделся он к ней, и вот же – глаза у нее голубиные, лицо лучится светом, – истинно красавица. Удивился себе, как же это не увидел раньше, не зная, что просто поразила его слепота, ибо в день, когда он отчаялся найти дополнительную душу, изменило ему зрение. Смотрела на него девушка и говорит, словно знала его давно.

«Благодарю тебя, господин мой, за все, что ты для меня сделал, но не об этом я просила тебя».

«А о чем?»

«Об исправлении».

Забилось сердце хасида. Ведь именно исправления он столь долго и тщетно искал. Опять взглянул на нее, словно купаясь в свете ее лица. Мгла сошла в комнату, и оставались они вместе долгую ночь. Проснулся он с первым утренним светом, – девушка исчезла. Лежал он одиноко в постели, и память девушки чудилась ему вкусом свежего плода. Но вот – исчезла, как будто и вовсе не была. Потрясен был хасид...»

«И это твой Элимелех, дядя Соломон?» – прервала я его рассказ, ибо не хватало у меня терпения его слушать.

«Потрясен был хасид, – упрямо продолжил дядя, – было ли ночное видение истинной девушкой или привидением? И возникло у него подозрение, что это была Лилит. Поглядел на стол и увидел оставленный ею платок. Схватил его и приложил к лицу, вдыхая волшебный запах ее волос».

Я смотрела на красный платок, лежащий на столе рядом со скрипкой. Глаза наши, мои и дяди Соломона, скрестились на этом платке.

Не отрывая от него глаз, дядя продолжал мне рассказывать:

«Погрузил хасид лицо свое в платок, сильная тоска охватила его, и он не мог сдерживать своих чувств. Стал метаться по комнате, рыскать по углам, выглядывать в окна, распахнул дверь, выбежал во двор. Нигде ее не было видно. Выскочил за ворота и целый день искал ее по всем закоулкам. Вернулся к вечеру в надежде, что и она вернулась. Сидел в кресле, зажав голову ладонями. Зажег свет. Вот, надеялся, увидит она свет и прибежит на огонек. Опять бросился на поиски, обежал все рынки. Встречая друзей, не здоровался с ними. От окликавших его знакомых отмахивался. Не пил и не ел, сам себе удивляясь, как может до такой степени охватить человека безумие поиска девушки, которая всего-то была с ним одну ночь. И вдруг спохватился и закричал: «Какой же ты дурак!? всю жизнь ты ищешь свою дополнительную душу. И вот же, когда была она в твоих объятиях, ты упустил ее»».

Замолк дядя Соломон, погрузился в кресло, как погружаются в самого себя.

Сказала ему:

«Эта молодая женщина была матерью Мойшеле?»

«Может быть».

«Дядя Соломон, теперь скажи мне правду, кто это такой – Элимелех?»

«Он был хасидом, детка»

Сидели мы и молчали. Дядя глядел как бы поверх стен, а я опустила голову. Хотела укорить дядю в том, что кормит он меня всякими выдумками, но не могла открыть рта. Перебирала все подробности его рассказа, пытаюсь отыскать в них крупинцы правды об Элимелехе. Странный запах в комнате казался подобным скрежету железа, отзвывающимся в моей голове. Сидели мы и молчали, в первый раз между нами возникла какая-то неловкость. Вдруг у меня возникло подозрение, что моя мама как-то замешана в этом странном дядином рассказе. И сказала я явно против своей воли, словно бы слова силой исходили из моих уст вопреки желанию:

«Дядя Соломон, я тоже хочу жить в кибуце. С вами. Я хочу учиться там, у вас. Вместе с Мойшеле».

«Возможно ли это, детка? – испуганно спросил дядя. – Ты ведь у родителей единственная дочь».

«Может быть, и я ищу свою дополнительную душу, – и сама в голосе своем ощутила усмешку. – А может, я просто завидую Мойшеле, усыновленному вами?»

«Пошли», – сказал дядя.

Встали, заперли дверь огромным ключом и вышли в переулок. Уже была ночь. Старики исчезли. Два фонаря освещали переулок.

Обернулась – посмотреть на дом Элимелеха: он был погружен в глубокий мрак, почти невидимый в серой глыбе окружающих домов и стен.

На следующий день я заявила родителям о своем решении пойти жить в кибуц, к дяде Соломону и тете Амалии. Учиться вместе с Мойшеле, сыном Элимелеха. Последнее имя я подчеркнула, вглядываясь в лицо мамы. Краска залила ее щеки. Эмоции выплеснулись с обеих сторон. Мама говорила, что кибуц перестал сегодня привлекать людей, особенно, молодежь и что будущее мое – в городе. Завершила она свою тираду почти криком:

«Это работа Соломона. Амалии и Соломона. Сами рожать не могут, отбирают детей у других».

«Это только мое решение».

Отец прекратил эти препирательства деловым вопросом, истинно, как чиновник налоговой системы:

«Я должен выяснить, во сколько это мне обойдется в месяц, оплата обучения в кибуце».

Так я пришла в кибуц, к дяде Соломону, тете Амалии и Мойшеле...

Дядя Соломон, на сегодня хватит. Захочется, продолжу записи. Час поздний. Дорогой мой дядя, хочу признаться, что писание не слишком помогло мне. Пролетели часы, которые по вечерам скучны и пусты.

Глава четвертая

Соломон

Прошло примерно полчаса с тех пор, как Адас встала с постели и ушла, а я все сижу и удивленно смотрю на кресло, в котором она сидела, и думаю о ней. Принесла мне свои записи. Обещала также описать последние события нашей жизни. Напишу сегодня Мойшеле и Рами, попрошу их присоединиться к нам, изложить их взгляд на те же самые дни. Надеюсь, что они не откажут мне в этом.

Текст Адас я еще не прочитал, лишь присоединил эти листки к собственным записям. Я ведь дал обет: пока не завершу свой рассказ, не прикоснусь к тому, что написали молодые. Таков мой принцип: если желаешь познать ближнего, прежде познай самого себя. Буду описывать портреты друзей своих и врагов, да и собственный свой портрет.

Итак, где происходит место действия моего рассказа, до которого я сегодня дошел? В доме культуры тех дней. Барак словно бы вырос из травы, и это был единственный зеленый лоскут посреди двора. На горизонте, над бараком, всей темной мощью высилась гора, абсолютно лишенная растительности. Она являла древний пустынный пейзаж, замыкая горизонт над бараком и над всем кибуцем.

У входа в дом культуры рос дикий кактус, за многие годы вознесшийся высоко и раздавшийся вширь. Единожды в год кактус цвел, выбрасывая в ночь белый цветок, подобный звезде, мерцающей во мгле. Цветок этот раскрывался только по ночам и назывался «королевой ночи». Днем же кактус сворачивал цветок и опять сухо и скудно высился у входа в барак. Пространство между горой и бараком дома культуры простиралось высохшей почвой, которую покрывали колючки чертополоха.

Внутри барака расставлены были в беспорядке столы и стулья. Справа, у стены, стоял небольшой квадратный столик с постоянно открытой шахматной доской и расставленными для игры фигурами. Над столиком висела картина с изображением луны, опирающейся на гору, нависающую над кибуцем. Лик луны словно бы говорил: «Жалко закатываться за гору».

Вдоль стены, под окнами, тянулись полки из необструганных досок. Все газеты, выходящие в стране, и значительная часть выходящих за границей лежали на этих полках. Полки тянулись до шкафа слева, в котором можно было найти словари и всевозможные лексиконы немецкого и польского языков. Тут же высилось пианино, которое привез член кибуца, репатриант из Германии Фриц Зелигсон, он же единственный, кто на нем играл. На пианино стоял гипсовый портрет кибучника Шмуэля Перла, который погиб, перевернувшись с первым в кибуце трактором. Вылепил его Элимелех, друг Шмуэля. Луну также нарисовал Элимелех, украсивший своими работами немало стен в кибуце. Занавеси на окнах были сделаны из мешковины, на которой цветными нитками были вышиты узоры. Такова была мода в те дни в кибуцах. Муку привозили в белых мешках, и девушки затем вышивали на них узоры, вешали на окна, покрывали постели. А эти занавеси в доме культуры сделала Амалия, лучшая мастерица в кибуце по шитью и вязанью.

По весне гора покрывается цветами и зеленеющими кустами. Сильный ветер скользит с горы, врываясь во все уголки, в том числе и в читальный зал, раздувая занавеси, листая газеты, покрывая пылью столы, стулья, лица.

По вечерам, когда прохладный ветер обвевал наши лица, мы чаще всего играли в шахматы. Я был чемпионом кибуца. В год, с которого начинается рассказ, я был еще холост, обуреваем общественной деятельностью, но вечера посвящал шахматам. Все игроки обступали меня, чтобы по очереди сразиться со мной. Но ни один из них так и не преуспел, за исключе-

нием одного, вернее, одной. Это была Амалия, единственная женщина в кибуце, чуть не ставшая чемпионом по шахматам.

Она тоже еще ни с кем не связала свою судьбу, и это всех удивляло еще больше, чем ее способности в шахматах. В кибуце женщин было мало, а мужчин – навалом. Правда, уже тогда Амалия не отличалась красотой. На этот счет мужчины насмешничали: «Амалия не красива, но у нее прекрасная душа». Шлойме Гринблат, мой противник по сей день, всегда все знал, все слышал, и старался донести свои знания до каждого. Он уж побеспокоился, чтобы эти насмешки о «прекрасной душе» дошли до ушей Амалии. Конечно же, ее это оскорбляло до глубины души. Ведь она была еще молода, но две глубокие морщины возникали по обе стороны ее рта, когда она начинала смеяться, и смех ее был явно искусственным и горьким. Ноги у нее были слегка кривыми, естественно, от недоедания, а то и просто голодухи в детстве, в нищем польском местечке, где не было ни одного богача. Но когда она не улыбалась и не притворялась, а как бы сосредотачивалась в своей печали, удивительная одухотворенность освещала ее лицо, и свет этот шел из ее больших и глубоких темных глаз.

Эту одухотворенность я открыл в ней за шахматной партией в один из весенних вечеров, о котором и хочу рассказать.

Сидела она, печально сосредоточившись на фигурах, которые захватывали ее поле. Не знаю, что случилось. То ли повлияли на меня весенние запахи, ветерок с горы, касающийся ее лица, но неожиданно в душе я сравнил ее с Моной Лизой. И вдруг выпалил ей это в лицо. Амалия просто онемела. Никогда еще ни один мужчина не говорил ей комплименты... И вдруг, грома небесные!.. И не просто, а – Мона Лиза! Сравнение это просто вывело ее из равновесия, и нечего удивляться тому, что она изо всех сил старалась, чтобы весенние эти мысли меня не покинули. В тот вечер, за шахматной доской, она поведала мне об одном арабском шейхе, который увидел ее работающей в саду и сказал, что у нее походка верблюдицы, которая у арабов является символом красоты.

Этим ее рассказом завершилась шахматная партия. Амалия встала и пошла к выходу, а я поймал себя на том, что слежу за ее походкой, чего раньше за мной не наблюдалось. Она шла между столов и стульев, поднимала с пола сброшенные ветром газеты, вообще наводила порядок, и походка ее была такой же некрасивой, как и раньше, с явным припаданием в одну сторону и уравнивающим движением руки – в другую. И я думал про себя: «Не понимаю этого араба. Как мог этот шейх сравнить ее походку с красотой движения верблюда. Ну, что ж, араб это араб».

Открыла Амалия дверь и растворилась в ароматах весенней ночи. Глаза мои были прикованы к опустевшему выходу в каком-то внезапном приступе одиночества. Я сбросил с доски все фигуры и не отпускал из горсти короля Амалии, внимательно поглядывая на него и не понимая, что со мной происходит. Странная тоска по Амалии словно бы растворилась в моей крови. Как человек, поймавший себя на преступлении, сердитым толчком я всунул ее короля в коробку. И вновь ощутил почти непереносимое одиночество своей души. И как бы очнувшись: читальный зал был полон голосами, у пианино назревала драка.

«Это дело требует разбора. Его не удастся замять».

Шлойме Гринблат стоял у пианино, и рыжая его шевелюра пылала, как и произносимые им слова. Ноги его были расставлены, голова вобрана в узкие плечи, глазами он сверлил Звулуна. Когда Шлойме впадает в ярость, зеленые глаза его сверкают злыми искорками, пальцы сжимаются и разжимаются. Звулун же, высокий, с впалой грудью, большими очками в черной оправе, возвышался напротив Шлойме, спокойный и уверенный в себе.

«Ты откроешь завтра склад!» – кричал Шлойме.

«Нет», – отвечал Звулун.

«Это тебе даром не пройдет. Ты не будешь больше управляющим!»

«Поживем – увидим».

«Я сам открою склад с кормами. Сломаю замок!» – Шлойме размахивал руками перед носом Звулуна. У того руки были засунуты в карманы брюк и он повторял: «Поживем – увидим, – иногда меняя на: – увидим и проживем».

Вокруг толпились, забыв про газеты. Спокойным голосом Звулун пытался им объяснить причину спора: работающие в коровниках растратили весь жмых, отпущенный на месяц, и он, Звулун, не даст им разбазаривать дорогой корм.

«И вот, – указал Звулун худым и длинным своим пальцем на Шлойме, – они послали этого героя атаковать меня».

Я тут же в душе принял сторону Звулуна. Шлойме я всегда недолюбливал. Вообще не люблю требовательных скандалистов. Этот Шлойме, невысокого роста, с глазами, выскакивающими из орбит от ярости, и кулаками, бьющими себя в грудь, особенно меня раздражал.

«У тебя вообще нет права вмешиваться в дела с коровниками, – кричал он Звулуну, – управляющий складом не хозяин кибуца».

«Пока я заведующий, не будет разбазаривания корма. Невозможно терпеть всю эту вашу андрамалусию».

Звулун всего лишь год назад репатриировался из Польши, в иврите был слаб, чем и воспользовался Шлойме, чтобы еще больше унижить противника:

«Ну да, андрамалусия. Это все, что ты можешь сказать».

Раздался хохот, обезоруживший Звулуна похлеще криков Шлой «Так чего вы хотите, – вовсе обалдел Звулун, сказав поговорку «воды дошли до горла»: – в деле кормов «горло дошло до воды»».

Теперь уже вокруг хохотали во все горло. Шлойме, герой коровников, торжествовал, а одиночество и растерянность Звулуна ощущались во всей его долговязой фигуре. Я сидел у шахматного столика, думая о Звулуне: «Я люблю одиноких людей. Коллектив наш, всегда такой справедливый и прямодушный, нередко вгоняет людей в одиночество. Иные из них открыто бунтуют. Иногда ты чувствуешь в себе силу, когда у тебя вообще нет никакой поддержки». Я знал, что в основе этого самоистязания в душе моей таится чувство глубокой вины. Все эти сомнения я старался похоронить в душе, как вырывают страницы из дневника или стирают написанное. Все годы в кибуце меня сопровождали мысли о каком-то совершаемом мною грехе сомнения в коллективной форме жизни. Меня явно тянуло к жизни иной. Быть может, некий внутренний цензор приказывал мне вычеркивать «места и главы жизни целой», по выражению поэта, но чтобы никто не догадывался, что я, Соломон, активист кибуцного движения столько лет, мог даже позволить себе предаваться грешным этим мыслям.

Но это – истинная правда, что все время проживания в кибуце меня одолевали эти чуждые коллективу мысли. Я и сам себе не нравился и ощущал, что и другие, глядя на меня, видят, как говорится, что король гол. Потому и побаивался Шлойме, этого рыжего кота Шлойме, которого не посещают грешные такие мысли, и он любит себя и с явным самодовольством считает, что именно он – пуп кибуца, его высший и земной суд. Страх перед Шлойме тлел во мне, пока на миг наши взгляды не скрестились. Я ворвался в круг хохочущих и встал лицом к лицу с Шлойме. Он тут же понял, что я рвусь в бой, и пустился в обычные свои уловки:

«Все говорили на смешном иврите, когда приехали в Израиль. И нечего смеяться над Звулуном, а надо смеяться над всеми нами. Вот, к примеру, Амалия. Что она только не вытворяла с языком. А мы ведь живем как бы в одной палатке. Вот, лишь вчера открыл новую палатку, а утром нашел мужика под кроватью и мужика на кровати».

Шлойме указал пальцем на шахматный столик. Взгляды всех обратились туда, и все с ухмылками тут же уставились на меня: ведь речь шла уже не только об одном Звулуне, но еще об одном, вернее, одной, Амалии, каждый вечер играющей со мной в шахматы. Шлойме продолжал, видя, как я краснею:

«Верно, Соломон, что Амалия в нашей палатке превращает каждый носок в мужчину?» Это была игра слов на иврите: «герев» – носок, «гевер» – мужчина.

Вот и я оказался жертвой хохочущей во все горло оравы. И Звулун, недавно сам жертва, хохотал вместе со всеми. Внезапно мне все опротивело, я повернулся к ним спиной и вышел в ночь.

Снаружи свирепствовала весенняя буря. Я прижался спиной к старому, с огромной гривой, эвкалипту. Резкий его запах вошел в мои ноздри запахом весны. Странная нежность к этому мощному стволу и запаху, возникшая во мне, внесла в душу успокоение. Тяжко быть одиноким с этими запахами и весенним вихрем. Я попытался преодолеть натиск ветра, прорваться на темную гору, взобраться на ее вершину, чтобы слиться с бесконечной далью. Я бежал вверх по склону, я был один на один с тьмой в этом ничейном пространстве, между колючками и зарослями. Гора лежала передо мной подобием постели, но мир за нею был велик и бескраен, и пробудились во мне страстные чувства – швырнуть себя на эту гору зарослей, пробиться в сердцевину тьмы, добраться до звезд, до луны. Любить женщину в эту ночь, любить бурно и в то же время с какой-то легкостью, подобной этому весеннему ветру. Я чувствовал острую боль в груди: ведь я уже не юноша и еще не любил по-настоящему женщину. Что я тут делаю в эту ночь в полнейшем одиночестве среди этих колючих зарослей? Как я вообще смог запутаться в этом клубке, что лишь с большим усилием я смогу освободиться от этих пут? Да и смогу ли? Сам ведь себя сковал этой жизнью в кибуце. Я горжусь этим, ведь первый из семьи вырвался из прежней жизни и приехал в Эрец-Исраэль. Но что делать, если каждую ночь я грызу железо своей койки, как заключенный – решетку своей камеры. Был бы я сам себе хозяин, не неся ответственности за других, быть может, было бы у меня все по-другому. Но вот же, я скован цепью, охватывающей часть моей жизни, и я не могу от нее освободиться. Цепь, быть может, золотая, но все же – цепь.

Я испугался этих мыслей, повернул обратно, стал спускаться в долину и вдруг увидел во мраке пылающую огнем пальму.

Эти высокие взметенные ввысь пальмы с густыми вершинами оживляют пустынный горизонт, пока не становятся жертвами огня. В долине кочуют бедуины, зажигают костры в шатрах, чтобы варить пищу, отгонять мух и комаров, змей и скорпионов. Сильный ветер летит с гор, раздувает пламя, несет по воздуху искры, воспламеняя пальмы, соревнующиеся с ветром в высоте. И они вспыхивают как гигантские факелы. Остаются лишь черные обугленные стволы. Но приходит зима, дождь орошает эти стволы, и они оживают по весне, выпускают молодые зеленые побеги. Вечность пальм в нашей долине не обманет.

Пальма пылает во мраке, а я убегаю от этого огня, и меня сопровождают ночные звуки и голоса, кудахтанье кур в курятниках, бляенье овец в загонах, завыванье шакалов на горе и долгое мычание коровы, одной из «святых коров» Шлойме Гринблата. А перед глазами все время – горящая пальма. Я почти задохнулся, добравшись до столовой. А в ней, абсолютно пустой в столь поздний час, сидит никто иной, как Амалия в компании своих кошек. До нашей свадьбы был у нее такой странный обычай: каждый вечер, добрая душа, она приходила на кухню, собирала остатки еды и делила их между кошками. Так и застал я ее в ту весеннюю ночь в окружении мяукающих кошек, дерущихся между собой за пищу. Она сидела, повернувшись ко мне своей широкой спиной и столь же широкими бедрами. Сухие, выгоревшие на солнце волосы были коротко, по-мужски, подстрижены. Из старого ведра она извлекала остатки еды и раскладывала на газеты, расстеленные на полу, бормоча что-то ласковое, очевидно, понятное лишь кошкам.

Я невольно поперхнулся, закашлялся, Амалия испуганно повернулась, увидела меня в дверях, и лицо ее посветлело, как бывает утром после ночи. Но даже этот идущий изнутри свет немного добавил к ее невыразительному лицу. Рассмеялась:

«Ты что, Соломон, явился сказать мне еще что-то?»

Словно бы я пришел в столовую ради нее. И я хорошо помню... увидев ее в кошачьем обществе, я вдруг ощутил, что это тупик, и он комком подкатил к горлу. Я сердился на эту мысль, сердился на то, что услышал из ее уст. Она полагала, что я бежал за ней посреди ночи в столовую, чтобы продолжить беседу о Моне Лизе, приподняла это старое ведро, и говорит:

«Ну, Соломон, в чем дело?»

Вновь, как наваждение, встает передо мной все, что случилось в читальном зале, Шлойме Гринблат опять завладевает мной: «Шлойме, мелкий бес, вот же внушил мне, и теперь я не могу взглянуть на Амалию, чтобы не пришло на ум это превращение ею носка в мужчину».

Отвернул я взгляд от удивленных глаз Амалии и вернулся в ночь, в одиночество весенней бури...

Прошли весенние дни, свершилось то, что должно было свершиться между мной и Амалией. Надвинулось лето, и гора казалась сожженной, обугленной, черно-желтого цвета, без единого зеленого клочка, радующего глаз. Почернели и пожелтели поля в долине. Не хватало воды не только для растений, но и для того, чтобы напоить человека. Земля в долине потрескалась, порождая лишь колючки, сорняки, раскаленные камни, под которыми прятались скорпионы и змеи. Дни были долгими, тяжелыми, тягостными. Пот пропитывал одежду, и она липла к коже. И ночи были подобны дням, удушливые, без единого глотка свежего воздуха, несущие бессонницу.

К вечеру, когда багровое солнце закатывалось за гору и тень начинала ползти по ее склонам и по ближайшим холмам, люди пытались расслабиться на лужайке у читального зала, высаживали там цветы, и колючий кактус тенью своей шел на помощь розам и цветному поддубняку, который цвел круглый год. Рожковые деревья и дерево пуэнсиана дополняли тень. Пуэнсиана роняла красные цветы на зелень лужайки.

С приходом ночной тьмы купол жаркого неба почти прижимался к земле. Люди беспомощно искали облегчения в траве на лужайке, бодрствуя до рассвета. Некоторые закутывались в простыни и пытались уснуть, другие сидели на охладевших камнях у светящихся окон читального зала, проводя всю удушливую ночь в беседах и бесконечных спорах. Сам же зал из-за жары был пуст. Об игре в шахматы и речи не могло быть даже у меня и у Амалии. И все же, несмотря на изматывающее пеклом лето, что-то происходило между мной и Амалией.

В июле, августе и сентябре отношения между членами кибуца становятся натянутыми, и тяжесть этого напряжения между людьми пала на голову Амалии, и вовсе не из-за жары, шахматных фигур или ее бесформенной фигуры, а из-за несправедливых обвинений. В те годы Амалия была единственной портнихой в кибуце и настолько была загружена работой, что даже не получала выходного субботнего дня. Усталость просто валила ее с ног, и она настоятельно потребовала день отдыха. Ей разрешили отдыхать в понедельник. Утром в этот день Амалия пошла в читальный зал – послушать патефон, единственный в кибуце. Естественно, она была одна в зале и с удовольствием внимала звукам «Ночной серенады» Моцарта. И тут в зал ворвался Шлойме из коровника. Его насторожили звуки музыки в столь ранний час.

«Что это такое? – заорал он. – Патефон работает для одного человека?»

Тут же он раззвонил эту историю с патефоном по всему кибуцу, подчеркивая при этом наглость Амалии. Весь кибуц набросился на нее. Чувство обиды она пронесла через все то лето. И все же ей повезло. Я ведь тоже обиделся. Черт знает, что со мной происходило. Я был еще холост и жил один в небольшом бараке на краю кибуца. В те дни это было весьма необычно: один живет в бараке. Возникла в кибуце новая семья, и товарищеский совет требовал от меня передать этот мой барак новой семье. Я вообще человек спокойный и уравновешенный, но тут заупрямился и выступил резко против решения совета, да и всего кибуца. В общем, я героически отстаивал свое жилье, и в этом верным моим помощником стала Амалия. Полагаю, что уже тогда у нее были свои виды на мой барак.

Мы уединялись с нею в те жаркие ночи, сидя на камнях у окон читального зала. Небо покрывали облака, не давая пути ветру, воздух был недвижим, ветви рожкового дерева и пуэнсианы бессильно обвисали – лист не дрогнет, красный цветок не слетит. Над читальным залом и над нами пугающе тяжело нависала громада горы, и комары звенели и носились вокруг наших голов. Я пытался их отгонять от себя и от нее, и каждый раз ладонь моя приближалась к ее лицу, и лицо ее приближалось к моей руке, но не было соприкосновения.

И Амалия все говорила, явно касаясь своей мечты:

«Ни в коем случае не отдавай барак, ни в коем случае. Не будь глупцом, Соломон».

«Нет, нет, Амалия. Я не буду глупцом».

«Даже если будут тебя угрожать, не отдавай. Ты даже не представляешь, в каких тяжких грехах тебя могут обвинить в кибуце».

И опять она возвращалась к истории с патефоном и Шлойме, в который раз выплескивая свою обиду. Я старался ее поддержать:

«Шлойме – мелкий бес. Не следует серьезно относиться к проделкам таких мелких бесов».

«Ты, главное, не отдавай им свой барак».

«Не отдам».

«А если на общем собрании примут решение, отдашь?»

«Не отдам. Пусть исключат меня из кибуца. Пожалуйста. Пусть примут решение исключить человека из кибуца за то, что он борется за собственное, уже ему отведенное жилье».

«Не исключат. Кто осмелится выбросить такого, как ты, Соломон? Восстанут против тебя все сплетники во главе с Шлойме? Пусть! Злость и гнев пройдут, а барак останется тебе».

«Верно, Амалия. Злость недолговечна. А барак – это реальность. И его отдавать нельзя».

Шепот наших губ сливался с криком филина где-то в недвижности ночи, завыванием шакалов. В этом ночном зное таилось какое-то ожидание, которое томительно протягивалось через многие ночи того лета. Я остался жить в своем бараке с напряженным, на грани взрыва, отношением кибуца ко мне, Амалия – в своей палатке – со своей обидой. Между моим бараком и ее палаткой в тяжкие жаркие ночи того лета лежала зеленая лужайка у читального зала, на которой мы встречались почти каждую ночь...

И тут пришла зима, которую можно назвать нашей с Амалией зимой. Она была обильна благословенными ливнями по всей стране Израиля. Но ни один даже слабый дождик не прорвался в нашу долину. Облака обложили ее по кромке гор, словно бы оберегая засушливость. И как многие зимы, пронесшиеся над нашей долиной, так и эту нашу с Амалией зиму облака стояли над вершиной горы, дождь, подобно острожнику, был замкнут в небесных эмпиреях.

Темна и скалиста наша гора. Хребет ее наслоен из округлых, накладывающихся друг на друга холмов, подобных женам привидений-исполинов, чьи вечно беременные брюха достигают их зубов. А вокруг них, словно рожденные ими, поколение за поколением, утесы угрюмо стоят на страже этих пустынных складок земной коры. Ветер, скользящий зимой с горы, завывал и в ту зиму. И люди в кибуце поворачивали головы в сторону горы, стоящей во всей своей оголенности, с одним лишь покровом – черными облаками без капли воды над вершиной, и говорили: «Опять в этом году будет засуха».

Входили в читальный зал и погружались в газеты и книги, жадно впитывали всухую мировые новости и главные сообщения об избытке дождей по стране и о некоем фантастическом проекте сдвинуть гору, чтобы открыть долину пространствам и дождям. Вихри, которым удавалось преодолеть гору и ворваться в кибуц, сбивали лишь излишек листьев и цветов с ветвей пуэнсианы, усеивающих травяную лужайку у читального зала, били по красной черепице, прикрывающей мой маленький барак, и по палатке Амалии.

В ту зиму Амалия поднялась на два разряда по кибуцной шкале. Во-первых, перешла жить из палатки в особый сорт барака, который ныне исчез из кибуцев, а тогда считался элитар-

ным. Это было строение, обшитое деревом и покрытое пластами гудрона. Такие строения были куплены у британской армии и воистину в глазах кибуцников считались дворцами. Перейдя в такой барак, Амалия еще получила повышение по работе, став, вместо простой портнихи, заведующей вещевым складом. В моей жизни также произошли изменения: я стал казначеем кибуца.

Каждый реагировал на угрозу засухи по-своему. Я все бросал взгляды на сухую гору, долго рассматривал черные облака, сковавшие дожди, и говорил про себя вновь и вновь:

«Засуха пожнет еще год. Надо будет сократить бюджет и мне не снести головы».

Можно лишь предположить, что думала по этому поводу Амалия. Добрая душа ее вероятнее всего размышляла так: «Будет засуха, значит, зима выдастся жаркая. Не будет нужды вести с Соломоном споры о теплой одежде и носках».

Однако у доброй и верной мне Амалии были планы вести со мной дискуссии на иную тему. Но все начало развиваться совсем по-иному. Все мы оказались неправы. Засухи не было. Разверзлись небесные хляби – ливни и мощные потоки воды обрушились на кибуц и поля долины. Кибуц всеми своими строениями тускло просвечивался за сильной завесой ливня. Люди пересекали пространство, утопая черными резиновым сапогами в грязи, перекрывая головы зелеными военными плащ-палатками. Они выглядели странными существами, лишенными голов и конечностей.

Эти плащ-палатки я приобрел у армии его величества по таким бросовым ценам, что мог лишь гордиться. Но вот теплые носки не купил в достаточном количестве и предвидел по этому поводу дискуссии с Амалией. Но она-то думала о беседах со мной по-иному поводу.

В эти дождливые дни, естественно, центром кибуца был читальный зал. Пуэнсиана боролась с ветром, и оголенные ветви ее пытались выстоять. Рожковое дерево роняло тяжкие, как град, капли, кусты роз обессилено стелились по земле, торча обломанными ветками. Лишь кактус равнодушно выдерживал нападки ветра и ливня. Внутри зала было тепло и приятно, и не было свободного стула. Тогда не было у членов кибуца обогревателей, и в жилищах стоял жуткий холод. Единственно, что оставалось, – согреться в постели. В зале же была керосиновая печка, и запах горящего керосина сушил горло, ноздри, глаза. Так в зале все пылало – печка, горло, нос, глаза, внутренности и, конечно же, споры. Об игре в шахматы нечего говорить. Воспламенение мозгов, сердец и ртов вокруг пылающей печки в эти холодные вечера достигало апогея. Игра шла до поздней ночи, и Амалия была чемпионом, ибо я не собирался с ней соревноваться.

Амалия, добрая душа, каждый вечер в ту зиму приходила первой в читальный зал. Одинока была, без мужа, без детей. Она открывала зал и наводила там порядок. Закатывала занавеси на окнах, складывала газеты, очищала от золы пепельницы и зажигала печку. Затем расставляла фигуры на шахматной доске и начинала играть сама с собой, время от времени поглядывая на двери.

Готовясь к игре, Амалия наряжалась в красивое платье, подаренное ей родственницей из Тель-Авива. Ни у одной девушки в кибуце не было своего платья, да еще из высококачественной шерсти, голубого с белым кружевным воротничком. По ее расчетам, и я должен был появляться вечером в зале, ибо тоже был одинок. Но я не приходил. У меня были свои грехи. Таким, к примеру, у меня был примус, который Элимелех собрал из частей старых примусов. Я также нашел выдавший виды закопченный чайник. Примус нагревал мой малый барак, я экономил гроши, на которые приобретал чай и кофе, а иногда даже печенье и бутерброды. Было мне тепло и приятно в моем жилище и не тянуло в читальный зал. Сидел уютно за столом, вел финансовые расчеты кибуца, а затем читал книгу или газету. Да, у меня была своя газета. Уезжая в любое место, покупал по дороге газеты. Растягивался на постели, накрывшись плащ-палаткой его величества, примус горел, запах кофе щекотал ноздри, ветер бил по черепице и сотрясал стекла в окне. Мне был тепло и хорошо.

Амалия же в эти часы последней покидала читальный зал, замыкала дверь, выходила в одиночку в дождливую тьму, месила грязь резиновыми черными сапогами, прикрывая красивое свое платье шубой, шла, борясь с ветром и дождем. С волос ее стекали струи, глаза слезились от порывов сильного ветра. В бараке ее ожидал ужасный холод, от которого леденело всё тело, а ветер преследовал ее, посвистывая в многочисленных щелях, дождь выделявал дикую пляску на жестяной крыше. Амалия падала на постель, успокаивая дыхание, накрываясь мешковиной, такой же, как занавеси на окнах. И шкаф у постели был без дверцы, просто занавешен мешком от муки. И снились ей, вероятнее всего, сны о просторном и уютном доме с бетонными стенами, столом и стульями, шкафом с дверцами и даже с вентилятором – летом и печкой – зимой. В те дни она даже и мечтать не могла о чайнике, в котором кипятят чай или кофе, но мысли обо мне все же не давали ей покоя, и она начала преследовать меня, требуя объяснений, почему я не добыл достаточно носков. Только зашел я на вещевой склад в пятницу за сменой белья, как она набросилась на меня по поводу носков. Этого ей было недостаточно, она преследовала меня каждый вечер в столовой. И каждый полдень подстерегала меня, когда я возвращался из города, куда ездил по казначейским делам. Только вхожу в ворота, а она тут как тут. Оказывается, она тут по делу – в столярной и сапожной мастерских. А они – у ворот. Только возникла, и сразу:

«Соломон, я тебя спрашиваю, почему ты не покупаешь носки для членов кибуца? Они что, всю эту тяжкую зиму должны ходить без теплых носков? Ну, разве так можно, Соломон?»
«Можно».

Я убежал, и Амалия оставалась посреди двора с этим словом «Можно». Но понимала это слово вовсе не в том смысле, который я в него вкладывал.

Наступил вечер, время прихода Амалии в читальный зал, но она не пошла. Правда, надела праздничное свое платье, повязала голову голубым платком, закуталась в меховую свою шубу, сунула ноги в резиновые сапоги, взяла пару теплых носков, забытых кем-то из членов кибуца, и побежала в дождь по грязи, по мокрой траве лужайки у читального зала. Никто не видел ее. Зал был пуст. Все уединились в своих жилищах с детьми и женами, согревая себя играми, смехом, болтовней, лепетом малышей, кутаясь в одеяла. Добралась Амалия до моих дверей, постучала, и вот она – стоит в дверях. Я, как обычно, валяюсь в постели, примус Элимелеха горит в полную силу, в чайнике закипает вода. Я бросил на Амалию полный наивного удивления взгляд:

«Амалия, что-то случилось? Есть проблемы?»

«Есть», – сказала она.

«У всех они есть», – подумал я про себя.

Тут я собрался прочесть ей мораль, дескать, я не могу заниматься частными ее проблемами, ибо обязан заниматься проблемами всех членов кибуца. Но Амалия истолковала все это по-своему:

«Да не пришла я по поводу носков, я их просто тебе принесла», – и она швырнула пару теплых из отличной шерсти носков мне в постель. Стояла она у дверей, и краска медленно покрывала ее щеки.

«Пара носков?» – спросил я удивленно.

«Ну да».

«Что вдруг носки?»

«Потому что они согревают ноги».

«Но мне нет нужды их согревать».

«Еще как есть, Соломон, еще как».

Вероятно, долго бы длилась дискуссия по поводу носков между мной, лежащим в постели, и Амалией, стоящей у дверей. Но вдруг резкий порыв ветра ворвался в барак и погасил примус. Тут уж я повысил голос:

«Да закрой ты двери, Амалия. Не видишь, примус погас».

Дверь можно закрыть снаружи и изнутри. Как поняла Амалия мою просьбу, можно предугадать. Она и так уже много времени крутилась вокруг меня, пытаясь выбраться из мрачного прозябания своей жизни. И в ту ночь, когда дождь с тем же мрачным постоянством изливался ей на голову, поняла она, что ее преследования принесли плоды. Ну, а как же я истолковал то, что она закрыла двери изнутри? Скажу, положила руку на сердце, не глядел на суету Амалии в комнате, а не отрывал глаз от примуса, думал об Элимелехе, и постепенно перешел на мысли об Амалии, развивающиеся явно в поэтическом направлении:

«Нет женщины в мире, о которой можно было бы сказать – вот, само совершенство. Ведь совершенство редко в любой области. Много качеств есть у женщины, и не следует от нее требовать больше, чем можно. В женщине, которая бежит в ливень, навстречу ветру, обжигающему лицо, чтобы принести пару теплых носков тому, чьи ноги холодны, как лед, несомненно, скрыты определенные весьма достойные качества».

Я кивнул головой в сторону погасшего примуса. Но Амалия опять же истолковала мой жест по-своему, и на этот раз была права, абсолютно права, добрая моя душа, Амалия...

Прошли с тех пор годы. Не прошли – пролетели. Гора-то осталась такой же в своем явно дразнящем человека упрямстве, но подножье ее окольцевали ряды рожковых деревьев, кипарисы и сосны, пуэнсиана расширила крону. Старый кактус почти исчез в море цветов и зелени у дома культуры. И нет уже больше барачков британской армии, да и вообще барачков. Белеют ряды домов, и двери в них исправно замыкаются, и окна прикрывают от солнца жалюзи, и у каждого дома зеленые лужайки и грядки цветов. И старый читальный зал сменили просторные помещения дома культуры. В нем и по сей день лежат кипы газет, но значение их сильно уменьшилось. Газеты есть у каждого члена кибуца, и он может удобно сидеть в домашнем кресле или лежать в постели – читать себе в свое удовольствие или вообще не читать. В шахматы еще поигрывают, но их почти вытеснила игра в шеш-беш, а о том, что я был чемпионом по шахматам в кибуце, начисто забыли. Но главное в доме культуры не игры эти, а чай и кофе зимой, прохладительные напитки – летом, и печенье, которые едят и зимой и летом...

Сажу почти в темноте. По привычке пишу при пламени свечи, тонкий язычок которой слабо разгоняет обступающую мглу.

Глава пятая

Адас

Друг мой бесценный, опять вечер сошел на кибуц. Одна сижу в моей комнате. Выполняю то, что обещала тебе, стараясь отделить себя от самой себя. Опять я вовсе не Адас, а писательница, повествующая о жизни некой Адас. Быть может, именно так удастся мне правдиво рассказать обо всем, что случилось.

Итак, я решила оставить родительский дом в Иерусалиме и перейти жить в кибуц, там же учиться и стать приемной дочерью дяди Соломона и тети Амалии. Они приняли это мое решение всем сердцем, и дядя приехал в Иерусалим помочь мне перевезти мои вещи в кибуц. Мама упаковала два чемодана. Лицо ее было угрюмым и несчастным. Отец же был настроен дружески, сказал:

«Успеха тебе, Адас».

Лето было жарким, тяжким, засушливым. Сошли мы с автобуса у въезда в кибуц, дядя с одним чемоданом, я – с другим. Это был ранний полдень, и солнце утопало в мареве. Зной и пыль витали над пространством кибуца, вместе с маревом делая строения едва различимыми. Сандалии были набиты мелкими камешками, а понятие мостовой, казалось, этой земле неизвестно. Хотелось поставить чемодан и слегка передохнуть, но я была как-то слишком ленива, чтобы это сделать, и продолжала молча тащить чемодан рядом с дядей. Тяжкий зной словно бы поглотил все слова. На горе, замыкающей нам горизонт, горела растительность, и огонь бежал по тропе, как золотая цепочка, светящаяся в тумане. Пылающая гора накаляла небо, воздух, землю. Дорога, по которой мы шли, казалось мне, вела прямо в огонь пожара. Крайнее отчаяние охватило меня. Дядя, который читал на моем лице каждое движение моей души, увидел это отчаяние:

«Есть проблема, Адас?»

«Есть, дядя Соломон», – сказала я, не отрывая взгляда от страшной горы в пламени пожара.

«Гора эта, детка, проблема всех нас».

Странно, но на душе как-то полегчало, и я успокоилась. Мы вошли в прохладный и уютный дом, где нас уже ожидал накрытый в нашу честь стол. Мойшеле сидел у стола. Он уже заканчивал школу и должен был идти в армию. Год минул после смерти его отца и того дня, когда он пришел в наш дом в Иерусалиме, и не мог проглотить даже маленький кусочек мяса за обедом. Но вот прошел всего год, и он был неузнаваем. Подросток превратился в мужчину, высокого, с прямой спиной и загорелым лицом. Не осталось в нем ни капли прежней стыдливости. Не опустил, а вперил в меня пылающие глаза и этак нагло процедил сквозь зубы:

«Неплохо...»

«Сколько тебе, Адас?» – добавила тетя Амалия к реакции Мойшеле.

«Мне?.. Мне шестнадцать... с чем-то», – промямлила я, отводя взгляд от черных горячих глаза Мойшеле, который не спускал с меня взгляда.

«Возраст в любом случае подходящий. В яблочко!» – сказал Мойшеле.

Тетя Амалия смотрела на Мойшеле так, словно он сказал что-то очень умное, прямо таки просящееся в собрание мудрых мыслей всех времен, затем поставила на стол большой пахучий пирог. Глаза ее, не отрывающиеся от Мойшеле, были полны любви. Что там – большой пирог, любовь ее к Мойшеле была больше всего на свете, меня же она с чуть меньше заботой обхаживала, но старалась угодить во всем. В течение года Амалия успешно внедрила в сознание членов кибуца мысль о таланте Мойшеле как художника, которого ожидает большое будущее. Мне же говорила с легким пренебрежением:

«Выйдешь замуж. Ну, какое будущее может быть у такой красивой девушки, как ты, без свадьбы?»

«И вправду, почему тебе не выйти замуж? Если не хватает жениха, я могу предложить себя», – добавлял Мойшеле к пророчеству тети о моем будущем.

«Ты явно человек смелый, да и жених завидный», – продолжала я посмеиваться над ним, в душе стремясь сбежать от него...

Трудно сказать, была ли успешной моя адаптация в школе кибуца. Как только я пришла в класс, ученики, как говорится, стали меня испытывать. В начале у меня было такое ощущение, что я попала в чужую, не знакомую мне страну и должна все время быть начеку перед лицом врагов, желающих мне лишь зла. В один из вечеров одноклассники поймали меня и поволокли в бассейн, где моют морковь, привозимую с поля, чтобы совершить обряд купания. В бассейне было колесо, наподобие орудия пытки времен инквизиции, к которому привязывали жертву. Когда колесо пускали в действие, оно начинало мешать воду, как в стиральной машине, таким образом отмывая морковь от налипшей на нее грязи. К этому колесу привязывали добрые друзья из класса испытываемую жертву. Мне и предстояло такое испытание судьбы. Палачи объявили мне, что сейчас колесо начнет вертеться, окуная меня в это болото, пока я не открою им самую сокровенную мою тайну. Если я ее открою сейчас, меня тут же освободят и примут в компанию на равных. Пять минут дается на размышление. Глаза палачей не отрывались от меня. В отчаянии я не могла выдать и слова. Кто-то закричал:

«Глядите, она совсем посинела».

Ну, какую сокровенную тайну я могла им открыть. Была у меня одна, связанная с Элимелехом, но я и сама ее не раскрыла, хотя часто о ней думала, пытаюсь ее разгадать. В тот день, когда дядя Соломон в заброшенной квартире Элимелеха рассказал мне о дополнительной душе, воображение мое воспламенилось. Я видела в Элимелехе праведника, а маму мою – в уличной попрошайке, которая и обнаружилась как дополнительная его душа. Но мама убежала от него, за что и понесли наказание мой отец, и мама, и сам праведник Элимелех. И мама – праведница, в алом платке, который я видела валяющимся рядом со скрипкой на столе у Элимелеха, в длинном халате и с горящей свечой в руке, той самой, которую я видела в фарфоровом подсвечнике на ночном столике Элимелеха. Капли воска подобны застывшим каплям молока или, вернее, белым слезам. И я видела маму, стоящую с этой свечой перед праведником. Она ведь праведница. Она угадывает каждое его желание. Каждое движение его века. Каждое мановение его ока. И вот же, мама моя оставила праведника, чтобы выйти замуж за мытаря, чиновника налогового управления. И я – дочь мытаря. А Мойшеле – сын праведника.

Могла ли я открыть эту тайну палачам? Они бы лишь посмеялись и не поверили. Я думала в те минуты: «Не расскажу им об этом. Будут вертеть меня, как морковь, и это преодолею». И я закричала «Ну, чего вы ждете? Включайте свое колесо».

Это было для них как потрясение. Впервые кто-то готов был пройти пытку, но не раскрывать тайну. И еще мысль мелькнула в моем сознании: «Я должна пройти эту пытку, как искупление за мамины грехи». И чей-то голос, вопиющий в палаческой пустыне, словно бы ответил мне:

«Хватит, оставьте ее!»

«Какое тебе дело до того, что мы тут делаем, Рами?»

«Прямое».

«Не вмешивайся».

«Еще как вмешиваюсь».

«Почему?»

«Потому что я так хочу».

Подчинились решительному голосу Рами, ибо он был как бы некоронованным королем школы, одноклассник Мойшеле и его друг. Он же и снял с меня ремни, и я почти по-птичьи

слетела с колеса на твердую почву. А он все еще держал меня, сжимая мне плечи. Дрожь прошла по моему телу. Это было подобно чувству, какое я испытала однажды, посетив с отцом цирковое представление. В темном огромном шатре все начало трястись, и все зрители исходили единым криком. Я страшно испугалась, и долго после этого не могла прийти в себя. Так и тут, у бассейна для мытья моркови, ощущая руки Рами на своих плечах, я чувствовала, что земля подо мной трясется. Крикнула:

«Без рук!»

«Почему?»

«Потому что я так хочу», – повторила я его слова.

«Из-за твоей тайны?»

«Какой тайны? Нет у меня никакой тайны».

«Ага! У такой красивой девушки нет тайны. Готова была пройти пытки, но тайны им не раскрывать».

«Но какое тебе до этого дело?»

«А если есть у меня до этого дело?»

«Все равно тебе не открою».

«Жаль».

И ушел. Высокий парень с круглым лицом, голубыми веселыми глазами, копной взлохмаченных светлых волос. Звезда сборной кибуца по футболу и моя звезда у бассейна для мытья моркови. Осталась стоять, и все одноклассники окружили меня и говорили, что я девушка с характером и достойно выдержала испытание. Я пропускала все это мимо ушей, все ждала, что Рами хотя бы повернет голову в мою сторону. Хотя бы один раз. Но Рами продолжал уходить, абсолютно равнодушный к моему желанию, пока не исчез в конце тропы между мандариновыми деревьями. И я побежала за ним.

Добежала до школы. Рами нигде не было видно. Обежала все тропы, пересекающие зеленые лужайки. Вечер опустился на долину. Ветер раскачивал кроны финиковых пальм, возносящихся из зелени лужаек. Вокруг копнами стояли скошенные травы, распространяя опьяняющий запах. Замерла я у копны, втягивая в ноздри эти запахи. У высокой копны дальние голоса словно бы скапливались и были четко слышны, но среди них не было слышно голоса Рами. И внезапно я ощутила с острой болью ароматы этого удивительного вечера и опять пустилась по тропам между домами и деревьями искать Рами.

Вдруг передо мной возник белый щенок, дружески помахивающий хвостиком. Это был Цах, щенок Рами и Мойшеле. В те дни они занимались выращиванием животных. Был у них петух, который увязывался за ними, как пес, коза, которая сердила всех, ибо объедала все грядки. Даже осел, которого они приводили домой, ну, и этот светящийся чистой белизной, потому и названный именем Цах, щенок. Тяжело дыша, я бросилась за ним, пока не добралась до скамейки, окруженной со всех сторон кустами и потому невидимой постороннему глазу. Я раздвинула кусты. На скамье сидел Мойшеле. Карбидный фонарь освещал скамейку, Мойшеле и читаемую им книгу.

«Что ты тут делаешь?»

Разочарование, как видно, слышалось в моем голосе.

«Видишь – читаю».

«Но почему именно здесь?»

«Только здесь можно уединиться, чтобы никто тебе не лез в душу».

«Тебе необходимо уединение, чтобы читать книгу о выращивании лошадей?»

«Что в этом странного? Я люблю лошадей. Что с тобой? Ты ужасно выглядишь».

Волосы мои были взлохмачены, лицо, руки, ноги, одежда были в грязи от приключения на бассейне для мытья моркови. Рукав рубашки был разорван, сандалии вымазаны грязью. Мойшеле потянул меня на скамейку, дал мне расческу, совсем небольшую, с трудом расчесы-

вающую мои длинные и густые волосы. Взял Мойшеле из рук моих расческу, провел по моим волосам, и руки его заскользили по моей голове и спине. На одном из кустов одиноко замерла черная ворона и не отрывала от нас бусинки своих глаз. Мойшеле сказал:

«Ты похожа на эту ворону».

«Почему?»

«Волос черный, глаза черные, лицо загорелое, ноги длинные»

«Да у вороны нет длинных ног»

«У нее нет, а у тебя – есть».

Он притянул мою голову и поцеловал в губы. Первый раз в жизни парень поцеловал меня в губы. Столько я читала в книгах о первом поцелуе и давно уже сторала от любопытства узнать, как это выглядит вправду. И когда Мойшеле меня поцеловал, я лишь подумала: «Земля подо мной не трясется. Почему она не трясется? Рами только сжал мои плечи, и земля затряслась и почти ушла из-под моих ног».

Хотела встать и уйти, освободиться от объятий Мойшеле, но вдруг завыл шакал, и эти стоны в ночи меня страшно испугали. Мойшеле громко рассмеялся. Шакал выл, а Мойшеле смеялся. Я рассердилась на него:

«Что ты смеешься под это мерзкое завывание шакала?»

«Но мерзкий шакал – это Рами».

«Рами?»

«Не знаешь? Рами умеет подражать голосам животных, словно бы он сам такое животное. Сейчас увидишь, что произойдет в долине»

«Но где он?»

«Поднялся на гору рыдать, как шакал. Так он делает, когда очень взволнован. Очень, скажу тебе, странный экземпляр. Ты еще его узнаешь».

Шакалы пробудились по всей долине и стали подвывать Рами, рыдающему на горе. Это сплошное завывание было ужасным, да и смех Мойшеле был не менее ужасен. Я решила прекратить это завывание и этот смех, свернулась в объятиях Мойшеле и поцеловала его в губы, хотя бы таким образом пытаясь заглушить его смех. Он явно расчувствовался, прижал меня к своему сильному, жаркому, мускулистому телу. И тут одолело меня упрямое желание, чтобы земля затряслась подо мной в объятиях Мойшеле. Я заставляю ее трястись. Рами продолжал рыдать шакалом, и они, настоящие, рыдали по всей долине, и дрожь одолела меня, но непонятно было, кто потряс мои чувства, – Мойшеле своими объятиями или Рами – своим шакальным рыданием...

С той ночи Мойшеле стал называть меня вороной. И левый глаз его подмигивал, что с ним случалось при большом волнении. Рами я встретила во дворе неделю спустя после его завываний на горе. Я шла домой, к дяде. Около меня остановился трактор.

«Подвезти?»

Я поднялась на трактор и вцепилась в сиденье. Рами приказал:

«Положи руки мне на плечи. Так более безопасно» «Вовсе и не надо».

«Снова у тебя проблема с руками».

«Да».

«Жаль».

«Привет», – сказала и спрыгнула на ходу.

«Совсем спятила, – закричал он, – сумасшедшая на всю голову».

Уехал, ни разу не повернув головы в мою сторону...

Когда Мойшеле исполнилось восемнадцать, тетя Амалия закатила большой праздник, удивив именинника подарком – коричневыми вельветовыми брюками и роскошной цветной рубашкой. По ее мнению, без такой одежды невозможно быть художником. Дядя Соломон отнесся к подарку, мягко говоря, презрительно:

«Ну да, есть такие юноши, которые украшают лицо усами, под них втыкают курительную трубку, надевают вельветовые брюки и цветную рубашку, и во весь голос провозглашают себя людьми искусства. Тебе это, Мойшеле не понадобится, тем более отращенная борода. Ты и без всего этого будешь художником».

Посмотрел дядя Соломон на Мойшеле с большой любовью в глазах своих, серых и хищных, но тут вмешалась тетя Амалия:

«Художник не художник, а в одежде всегда есть нужда».

На день рождения именинник пригласил своего друга Рами, и тот явился в сопровождении щенка Цаха. Сидел напротив меня за столом ипил кофе чашку за чашкой. Под столом гулял Цах и облизывал ноги каждого, кто давал ему кусочек пирога. Наконец уселся на руки Рами, и тот кормил его без конца пирогом, а песик все облизывал хозяину руки. Глядела я на то, как пес облизывает Рами руку, и меня прохватывала дрожь. Я сердилась на себя и старалась не глядеть на Рами. Бесперывно улыбалась Мойшеле. Он же отвечал мне счастливым взглядом. Когда меня прожигали его пылающие глаза, я переводила взгляд на щенка, продолжающего лизать руку Рами. Опять мурашки шли по моей спине, и я пыталась себя уверить, что это от взгляда Мойшеле, но внутренний голос хмуро предупреждал: «Не лги себе, Адас!»

Тут Рами решил сам съесть свою порцию пирога. Пес начал на него лаять, требуя своей доли. Рами залаял в ответ, и собачий их диалог продолжался. Дядя и тетя смеялись, похваливая умение Рами подражать животным. Смеялся и Мойшеле. Весь этот смех, сотрясающий комнату, отзывался во мне завыванием шакалов той ночью. И я закричала:

«Подумаешь, большая мудрость подражать вою шакала».

«Чего это вдруг вой шакала?»

«А что? Нет?»

«Ты что, не можешь отличить вой шакала от лая собаки? Не можешь преодолеть свою иронию?»

«Что вы все спорите?» – вмешалась тетя Амалия.

«Они так всегда», – ответил Мойшеле за меня.

Взгляд дяди переходил от меня к Рами, затем остановился на Мойшеле. Я заметила, что его что-то беспокоит. Но он тут же опустил взгляд в свою чашку кофе. Рами заторопился на тренировку сборной по футболу, и ушел, даже не удостоив меня взглядом. Я же осталась сидеть, и все вокруг меня потускнело...

После этого дня рождения Рами и Мойшеле ушли в армию, добровольно выбрав десантные войска. Осталась я единственным ребенком у дяди и тети. Каждый день, ровно в пять после полудня шла я из интерната их проведать. Честно говоря, была я столь педантичной не столько во имя тети, сколько во имя дяди. В тот год он уже не занимался общественной деятельностью, а стал главным бухгалтером кибуца. Ровно в пять он приходил с работы, валился на диван, стоящий на веранде их уютной квартиры, и осторожно сбрасывал обувь, поглядывая, не нанес ли землю. Но вокруг сандалий было чисто. Улыбка появлялась на его лице, и он глубоко вздыхал, как в былые годы, и я, садясь рядом, вздыхала вместе с ним, вспоминая наше сиденье на ящике в дни моего детства у моря, на набережной Тель-Авива. И опять чувствовала, что дядя Соломон не просто мой дядя, а друг мой бесценный, который, как всегда, спрашивает:

«Есть проблемы, Адас?»

«Есть!»

«Да, детка. Знаю, что есть».

Тетя Амалия в эти часы обычно поливает цветы на грядках. Дом их окружен грядками цветов, которые вырастила тетя, ибо дяде всегда было не до цветов. Но ухо тетя держит остро, все слышит, и тут же вмешивается в наш разговор: «Конечно же, у нее есть проблемы. Она ведь ожидает прихода Мойшеле».

Я опускаю глаза, дядя встает, надевает сандалии, уходит в дом, я – за ним.

После того, как завершился курс молодого бойца, Рами и Мойшеле стали приходить домой каждый конец недели. Мойшеле, как обычно, ел меня пылающим своим взглядом и целовал в губы при дяде и тете, которая вообще-то считала, что Мойшеле просто меня осчастливил:

«Ты, детка, считай, что вытасила счастливый лотерейный билет».

Однажды, когда я встретила Рами во дворе, он спросил:

«Адас, есть уже кто-то, кто тебе нравится?»

«Есть».

«Спорим, что это... я».

«Спорим, что это не ты».

«Посмотрим еще, кто выиграет пари».

«Только не ты».

«Жаль».

Ушел Рами, и я остаюсь на дороге, надеясь, что он хоть один раз повернет голову.

Вот и мне минуло семнадцать, и тетя снова закатила большой праздник в конце недели. Суббота была выбрана не из-за Мойшеле, который пришел в пятницу, а из-за моих мамы и отца, ибо он работал в налоговом управлении, и они могли приехать лишь к вечеру в пятницу. Тут же вышли прогуляться в сопровождении дяди и меня. Они с того дня, как оставили кибуц, еще ни разу в нем не были, как будто было что-то нехорошее в этом уходе. Отец все вздыхал и вздыхал, а я думала про себя: «Может он вздыхает, потому что совершил нечто грешное?»

«Тот же двор, и не тот же», – подытожил отец в конце концов.

Все время прогулки глаза матери были беспокойны, словно искали что-то, чего нет. Отец и мать всему удивлялись, даже кудахтанью кур в огромных автоматизированных курятниках, да, вздыхали они, все изменилось по сравнению с тем, что было когда-то. И это слово «когда-то» звучало в устах мамы с большой долей ностальгии. Отец же всем встречным пожимал руки, а увидев у столовой Шлойме Гринблата, даже расцеловался с ним, сказав: «Мы ведь были с ним душевными друзьями». «А я его просто терпеть не могла», – сказала мама с такой интонацией и таким голосом, который я раньше никогда от нее не слышала. Отец же продолжал всем пожимать руки, вздыхая при этом: «Да, да, прошли годы. Бог мой, как быстро они пролетели». Неожиданно отец посмотрел на маму с каким-то особым вниманием, словно бы тут, среди цветущего двора, впервые заметил, сколько морщин избородило ее лицо, перевел взгляд на гору, выпрямился во весь рост, напряг спину, ударил себя в грудь и произнес голосом, явно жалеющим себя: «Только гора осталась такой же, только она». «Да, только она», – сказала мама, стоя у шеренги эвкалиптов, рядом с доильным помещением коровника. Кроны трех эвкалиптов смешались высоко в небе. Дядя Соломон сказал: «Пойдем, Машенька, поглядим на автоматическую дойку». Мама, словно бы и не слыша его слов, все не отрывала взгляда от эвкалиптов. Спросила:

«Не те ли эти деревья, что их ветками Элимелех покрывал свой шалаш в праздник Суккот?» «Те».

«Ну, пошли уже. Действительно, не увидим дойку. Никогда еще не видел, как автоматически доят коров», – заторопил отец маму.

Мама ответила ему печальным взглядом. Я ощущала некую ненависть, проскальзывающую между отцом и мамой, подобно каплям мутной воды. Неужели эта ненависть тоже связана с Элимелехом? Ничего я не знала, но сердце мое было на стороне матери. Я чувствовала к ней глубокую жалость, но и сопротивление ее какой-то расслабленности в отношении прошлого. И тут проскользнула в моем сознании искра, которая мучила меня позже довольно дол «Не хочу быть похожа на маму и не хочу жить, как она». Мои размышления и догадки в отношении мамы и Элимелеха всегда вели меня к Мойшеле. И я чувствовала себя, как человек, разделяющий с ним его судьбу. И оставив родителей продолжать прогулку, я побежала к воротам –

поджидать Мойшеле. Ждала его и ждала, а он все не появлялся. Не помогали мои мечущиеся за каждым автобусом и машиной на шоссе взгляды. Уже пришли все солдаты, а его не было. Рами также не пришел в тот день, но он меня не интересовал. Я ждала Мойшеле. Вернулась я домой с опавшим лицом. Тетя Амалия сразу все поняла и сказала:

«Иногда солдаты приходят и в субботу. По сути, ведь твой праздник – завтра».

«Даже если Мойшеле не придет, праздник все равно удастся», – добавила мама, желая меня успокоить.

Праздник и вправду мог быть радостным, но я испортила его. Вообще не участвовала в собственном дне рождения. Мойшеле появился в моей комнате в пять утра в субботу. Я осталась ночевать в интернате, и была одна в комнате. Обычно в субботу я сплю у дяди и тети. Но в эту субботу на моем месте, ночевали родители.

Занялась заря. В комнате словно бы курился ее бледный, размытый свет. И в этой размытости внезапно возник, возвысился и так выросший в те дни Мойшеле. На голове – алый берет десантника, высокие зашнурованные ботинки – на ногах. Я была еще полусонной и неожиданно, словно бы увидев привидение, являвшееся мне во снах, вскрикнула:

«Элимелех!»

«Тс-с-с», – поцеловал меня в губы.

Я пыталась проснуться. Раскрыла глаза и как в тумане увидела большую ладонь на моем лице. Снова закрыла глаза и вскрикнула. Руки потрясли меня за плечи, взъерошили мне волосы. Наконец я совсем проснулась. Мойшеле надо мной, улыбается:

«Что за крики?»

«Я кричала?»

«Ты выкрикивала имя моего отца».

«Откуда ты вдруг взялся?»

«Из армии».

«Почему так рано?»

«Чтобы первым поздравить тебя с днем рождения».

Он распахнул окно, и сильный утренний ветер ворвался в комнату, еще более нагнав на меня страх. Я знала, что это утренний холод бросил меня в дрожь, но приписала ее влюбленным глазам Мойшеле. Наконец-то я заставила землю дрожать подо мной.

«Вставай», – скомандовал Мойшеле, – не полагается встречать свой день рождения в такой затхлости»...

Мы спустились в долину. Длинные утренние тени ложились на нас. Вначале мы пытались бегом спастись от теней. Но тени преследовали нас. Затем замедлили шаг и молча пошли рядом. Дошли до искусственных прудов с рыбой. Гуляли по насыпям между прудов и покусывали камышинки. Птицы сотрясали свистом миры. Нутрии выпрыгивали из воды, выписывали дугу в воздухе и возвращались в глубь. Воздух, вода, земля кишели вокруг нас множеством звуков и голосов. Небо стало проясняться. Новый день чертил полосу за полосой в туманном небесном куполе. Мойшеле вознес руку к зарождающемуся свету, и на какой-то миг огромная его рука повисла в воздухе. И снова дрожь прошла по моей спине.

«Тебе холодно?»

«Я замерзаю».

Набросил на меня свою военную куртку и сказал:

«Сунь руку в карман».

И тут я извлекла конверт, в котором было серебряное колечко искусной работы йеменского ювелира. Взял у меня кольцо, положил на ладонь, поднес свою сильную руку к моему лицу и спросил:

«Красивое?»

«Очень красивое».

«Это кольцо отец мой дал моей матери в день свадьбы. Это кольцо предназначено тебе».

Я отпрянула, но Мойшеле крепко держал мою руку, нанизывая его на мой палец. Я сжала пальцы, готовясь спастись бегством. Я знала: не кольцо он наденет мне на палец, а судьбу мою закольцует. Он шел за мной, приказывая:

«Выпрями палец, Адам».

«Кто была твоя мама, Мойшеле?»

«Она умерла при родах».

Я закрыла глаза. Тяжесть размышлений словно бы ослепила меня. Нет, не моя мама была дополнительной душой Элимелеха. Душа эта умерла, как умирают многие души, и оставила сына, Мойшеле, прекрасно рисующего, лепящего из глины, режущего по дереву, как его отец. Сюжет, который я сочинила в своем воображении, оказался фальшивым.

«Что с тобой, Адам?»

«Просто мне холодно».

«Ты выглядишь такой печальной».

«Никакой печали».

Я протянула ему руку, и он надел мне на палец кольцо, сорвал колючий стебелек репейника и подал мне. Я закричала:

«Берегись! На репейнике осиное гнездо!»

«Этим он и красив. Осы улетели и гнездо пусто»

«Пусто?»

«Да что с тобой?»

«Я же сказала... Просто мне холодно».

«Солнце уже восходит. Скоро станет тепло. А еще немного, примерно, через год, ты закончишь школу, Адам».

«Тогда и я пойду в армию».

«И тогда мы поженимся».

«Кто это решил?»

«Ты и я. Вот сейчас и решили».

Я всунула руку с кольцом в карман куртки Мойшеле. Это было мое обручальное кольцо. Мойшеле потянул меня в лодку, привязанную к причалу, и мы поплыли в свадебное путешествие до середины рыбного пруда. Волны были мягкими и медленными, покачивали лодку, как гамак. Лягушки выпевали нам любовную песню. Сильный ночной ветер перешел в легкий утренний. Солнце будило воды, растекаясь по ним цветными разводами.

«Семь цветов, Адам, семь цветов спектра на воде в утренние часы».

«Расскажи мне что-нибудь о твоём отце».

«Когда я был маленьким, отец закутывал меня в простыню после купания. Душ у нас был во дворе, и отец должен был меня нести через двор в дом».

Мойшеле замолк. Раскрыл рюкзак, словно собирался найти в нем что-то, извлек несколько лепешек и раскрошил в воду. Чайки тут же бросились – хватать крошки. Я же не отступала:

«Ну, а потом? Что было после душа?»

«Был дождь. Дул сильный иерусалимский ветер. Отец закутывал меня и говорил: «Мойшеле, закрой глаза. Я несу тебя в страну прекрасных сказок». И он укладывал меня в постель, смеялся, и смех был теплым и приятным. Смеясь, он снимал с меня простыню и говорил: «Мойшеле, открой глаза. Мы прибыли в страну прекрасных сказок». Он закутывал меня в одеяло, а я просил его выловить, как дичь, в сказочном городе сказочной страны самую лучшую сказку».

Глаза Мойшеле горели, лицо побледнело. Что-то было в его глазах просящее: не заставлять его рассказывать об отце в это такое чудесное утро. Он, пришедший ко мне за любовью,

должен был погрузиться в боль потери отца. А я не хотела его жалеть, я даже жаждала причинить ему боль, словно бы не находила место собственной душе:

«Не отвлекайся. И вот он вышел с тобой на охоту в страну сказок?»

«У отца все было не так просто. Он говорил мне: «Мойшеле, чем ты хочешь вести охоту? Словами? Но за сказками не охотятся словами, даже если слова эти прекрасны. Я научу тебя охоте на сказки». Отец брал в руки скрипку, и звуки повествовали мне о самой прекрасной из сказок. Так я и засыпал под звуки музыки».

«Ты тоже умеешь играть на скрипке?»

«Умею».

«Почему же я ни разу не видал скрипку в твоих руках?»

«Скрипка была отцовская. Одна на двоих. А теперь... я не в силах держать скрипку отца в руках».

Передо мной в лодке сидел не колючий и шероховатый десантник Мойшеле, а юноша, внутренняя боль, страдания души которого отражалась в его серых глазах и слышались в голосе:

«Ты, несомненно, голодна. Я сейчас тебе организую завтрак из моего боевого пайка».

Он достал из рюкзака банки консервов. Его крепкая рука, сжимающая открывалку, дрожала. И тут меня одолела жалость к нему, обернувшись бурным выражением любви. Я обняла его за шею, прижалась к нему. В небе над нами, сквозь обрывки облаков выглянуло солнце. Чудное утро словно было нам в подарок своим покоем и перевозданностью. Чайки снизили полет и просто выхватывали предназначенные мне ломти хлеба из-под рук Мойшеле. Мы вовсе не обращали на это внимание. Огонь пылал не только в глазах и объятиях Мойшеле. Он был и во мне...

Лишь в поздние обеденные часы мы пришли в дом дяди и тети. Оба выглядели дико. Не поменяли одежды, не расчесались, не омыли лица. Все сидели вокруг стола как в трауре. Ели торт. Пили кофе и с отчаянием смотрели на нас. А мы даже не попросили извинения за опоздание. Особенно я – у своих родителей – за то, что вообще не явилась на собственный день рождения. Завалили стол в моей комнате подарками. Я на них не взглянула. Но лица наши, очевидно, светились, глаза смеялись. И тетя Амалия, увидев нас входящими, вскрикнула:

«Вот они! Выглядят, как брат и сестра».

«Чепуха, – сказал дядя Соломон, – так, что ли, выглядят брат и сестра?»...

Пришел день, и я сижу в комнате дяди и тети в белом подвенечном платье. Тетя суетится над моей прической, мама смотрит со стороны на меня. Тетя то собирает, то распускает длинные мои волосы и все говорит:

«Ты будешь самой красивой из невест».

Тут в комнату ворвались дядя Соломон и жених Мойшеле, одетый в темные длинные брюки и белую сорочку.

«Где ты? Женимся мы или не женимся? – жених изучал меня долгим взглядом. – Вот и ты выглядишь сегодня черно-белой. Как ворона, что свалилась в кадку с известью».

«Убирайся отсюда, – сказала тетя Амалия, – выйди из комнаты, Мойшеле. Ты мешаешь».

Стоящий в стороне дядя Соломон добавил к словам тети:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.